



Карина Демина

Черный Янгар

Фэнтези • Любовный роман • Приключения



Annotation

Правят Севером Золотые рода. Стоит над ними кёниг Вилхо. Крепок его трон клинком Черного Янгара, о котором говорят, что нет на Севере бойца лучше.

И нет невесты краше, чем Пиркко-птичка, любимая дочь строптивного Тридуба.

Как было не связать две нити?

Велел кёниг свадьбу играть, а если Тридуба не подчинится, то и гнать его из Оленьего города. И склонил голову перед волей владыки Тридуба, согласился отдать дочь за Янгара. Вот только кто знал, что у него две дочери. И одной из них не жаль.

Карина Демина
Чёрный Янгар

* * *

Глава 1

Слово о Черном Янгаре

Кто не слышал о Янгхааре Каапо, прозванном Черным?

О том, что зачат он был в незаконную слепую ночь, отданную на откуп бельмоглазой Акку, богине запретных дорог и ненаписанных судеб. Темно ее лицо, а губы защиты суровой нитью.

Раз в год спускается она на землю.

И нет ночи страшнее.

Кто не знает, что матерью Янгара стала хааши-келмо, мертворожденное дитя, оживить которое взялась старая вельхо. Да то ли отвернулись от ведьмы боги, то ли сама она зло на семью затаила, но вышло все иначе, чем надобно. Трижды проносила вельхо младенчика над огнем, трижды совала в ледяную воду, а после приложила губами к губам роженицы, и тогда очнулась келмо, сделала вдох, да и вытянула из матери душу. Умерла роженица.

Хотели дитя за порог вынести, но побоялись гнева богов.

Оставили.

Упреком. Напоминанием.

Сутью безымянной: слово-то поименованного к дарителю имени привязывает, обоих меня. Оттого и не нашлось человека, который посмел бы назвать хааши-келмо.

Кто не верит, что отцом Янгара был сам Укконен Туули, ветер северный, грозовой, единственный сын Акку? Ехал он на спине слепого волка о шести хвостах да вниз глядел. На левом плече нес Укконен Туули мешок с синими молниями, на правом – гарпун из костей человеческих. И наряд его – наряд мертвеца: белая рубаха белой же нитью расшитая. Поясом из кос девичьих она перевязана. А на шее – ожерелье из зубов глазных звенит.

Страшен Укконен Туули.

Голоден вечно.

Оттого и кричит, и воет, вьюги дыханием рождая. Заглядывает он в окна домов, и горе тому, кто не нанесет на стекло три руны – Иру, Тай и рогатую Навис, которая всякую тьму отвращает.

Забыла хааши-келмо про обычай?

Или родичи выгнали ненужную за дверь, желая избавиться от докуки?

А может, ей, мертворожденной, самой умереть захотелось? Плохо было, душа чужая, заемная, так и не прижилась в теле, вот и выглянула хааши-келмо на зов ветра. По-всякому рассказывали.

Но сходились в одном: улеглась буря, и, пораженный бесстрашием девы, отступил сын Акку. Не ударил гарпуном, не опрокинул навзничь плетью ветра, не сел на грудь, тепло выдавливая. Разлепил Укконен Туули смерзшиеся ресницы, глянул на женщину и замер, красотой сраженный. Хотел заговорить, да не посмел – испугается красавица хриплого голоса.

Прикоснуться пожелал, но побоялся руку протянуть – а ну как заморозит насмерть?

Что делать было?

И раскатал Укконен Туули перед девой ковры снежные.

Рассыпал ледяные алмазы.

И сам ступил на землю, чего не бывало прежде.

Она же, заглянув в черные, предвечной бездной подаренные глаза, потянулась навстречу. Губы коснулись губ. Руки сплелись с руками. Искра же, из печи украденная, согрела обоих.

Живым стало сердце сына Акку. И успокоилась в его нежных ладонях отчаявшаяся душа келмо. Ночь же набросила полог, скрывая от глаз людских то, что видеть было не дозволено. И длилась она долго, куда дольше иных ночей. Но сколь бы ни силен был Укконен Туули, а и его час вышел.

И говорят, что не желал он улетать, да небо звало.

Силился он взять возлюбленную с собой, но не сумел – крепко люди к земле привязаны.

Решил тогда Укконен Туули просить самого Таваалинена Сёппо, Небесного Кузнеца, чтобы сделал он крылья для той, которая украла сердце бессердечного ветра.

– Вернусь, – сказал он, и сама зима была свидетелем этого слова. – Год пролетит, и вернусь.

Улыбнулась женщина, прижала теплую ладонь к ледяной щеке, показывая, что верит и будет ждать. И Укконен Туули в последний раз коснулся темных волос ее, которые вмиг побелели. Она же подарила ему единственное, что имела, – жар своей души.

Отчего не выпало им свидеться вновь?

Одни говорят, что слишком тяжок был ответный дар Укконен Туули, и дитя, этой ночью зачатое, вытянуло, высосало из матери все силы.

Другие – что и сама-то женщина мертворожденною была, а значит, лишена дара жизнь дать.

Но есть и третьи, их история мне нравится больше.

Слабы люди.

Пугливы.

И прежде-то сторонившиеся хааши-келмо, селяне теперь и вовсе заговорили, что одни от нее несчастья. А ну как и вправду вернется Укконен Туули к жене своей названной? Останется? И не будет больше дня, но только ночь беззаконная. Что тогда случится с людьми?

Всех погубит зима. Выморозит.

Шло время.

Рос живот у хааши-келмо.

И все чаще звенели небеса грозами далекими, сверкали белыми молниями, что вылетают из-под небесного молота. Видать, уговорил Укконен Туули Кузнеца. И тот спешил, ковал для человеческой женщины крылья.

Да только не становилось спокойнее людям.

Уйдет она. А что будет после? Не захочет ли вернуться? Отомстить за прошлые обиды? И каждый вдруг вспомнил все зло, которое прежде чинил, зная, что не посмеет безымянная ответить.

Кем она была? И кем стала? И кем еще станет, если позволить?

Не колдовство, но страх менял людей.

Зверели.

Тогда-то и решено было выкопать на лесной поляне глубокую могильную яму, выстлать ее можжевельновыми ветками да суходольником, что дурманит разум. Оставить в яме семью семь кувшинов с водой и семью семь хлебов.

А сверху, как водится, курган насыпать.

И пусть гуляет ветер, зовет возлюбленную, но всем известно – нет ветрам под землю ходу. Не найдет Укконен Туули свою женщину. Решит, что не дождалась, да и вернется на небеса, забудет о неверной.

И светлые боги на людей не прогневаются, что на роженицу руку подняли.

Так и сделали.

Обрядили несчастную в наряд похоронный. Заплели ей семь кос, на семь дорог посмертных. Обвязали ноги свежими оленьими шкурами. И живот поясом змеиным заперли.

Плакала хааши-келмо, умоляла пощадить если не ее, то хотя бы дитя нерожденное. Руки женские к животу тянула, показывала, что шевелится он, но не нашлось жалостливых. Всяк за своих детей боялся.

И встал посреди поляны новый курган, высокий, черный, и сколь ни сеяли на нем траву – не прорастала. А из кургана будто бы голос доносился. Сначала плач, после – крик, да такой, что сбежались на него волки со всей округи и три дня были, не замолкая.

Копали.

Пытались добраться до той, что звала.

А после раздался плач младенческий. И больше не кричала хааши-келмо, но пела колыбельные, долго пела. Только и у нее иссякли силы. Случилось это перед самой беззаконной ночью.

Вновь упала на землю беспроглядная тьма.

И спустился Укконен Туули. Спешил он, подгонял черного волка, который и без того тенью летел по-над землей. Прижимал сын Акку к груди серебряные крылья, легкие, как звездный свет, и крепкие, будто Северные горы.

Улыбался, грозный, предвидя встречу.

И с нежностью трогал огненную искру, которую носил на груди.

Спешил, но опоздал.

Пустым был дом. И никто не вышел на зов. Напрасно метался по снежным сугробам волк. Звал свою женщину сын Акку, но молчание было ответом. И гнев прорастал в сердце, которое прежде не ведало такой боли. Может, и вправду ушел бы Укконен Туули на небеса, поверив, что предала его возлюбленная, да только услышал он горестный плач. Не человек – волчица сидела у кургана. Выла. И скребла когтями мерзлую землю. Понял тогда Укконен Туули, что произошло.

Ударил он по кургану белой молнией.

Обрушился всей яростью ветра грозового.

Клыками вьюги вцепился. Грыз. Рвал. Терзал нещадно. Сам себя ранил, и черная кровь бездны падала на землю, ее отравляя. Отступила земля, признав за сыном Акку право спуститься. Вернула возлюбленную, да только поздно. Мертва была хааши-келмо. Молчало ее сердце. И губы, сколь ни целовал их Укконен Туули, оставались холодны, не принимали назад подаренную искру.

Упали небесные крылья на снег. Положил на них Укконен Туули жену, сам же лег рядом, уговаривая вернуться с запретного пути. Пусть всего лишь на миг.

Услышав мольбы его, сжалился Пехто, хозяин подземного мира, отпустил ненадолго душу хааши-келмо. Верно, отдал бы и вовсе, но не имел такого права. И боги подчиняются законам.

– Ты вернулся, – сказала хааши-келмо, заглянув в черные, словно первозданная бездна, глаза возлюбленного. – Я знала, что ты вернешься за мной. И ждала.

– Я принес тебе крылья.

Улыбнулась она и покачала головой: уже почти дошла душа, ступила на мост костяной, вдохнула горький туман Черноречки и отдала воде свое отражение. Скоро и вовсе забудет она, кем была. Умоется мертвой холодной водой и, очистившись от бед и страданий, переродится.

И судьба ей – вернуться на землю в новом обличье.

Знал Укконен Туули, что будет к ней милостив хозяин подземного мира, подарит иную, красивую жизнь. Да и другие боги присмотрят. Есть такие люди, о которых говорят, что сама Лиепе, мать всего сущего, их при рождении поцеловала. Удачливы они. Красивы. Здоровы. И горести, беды обходят их стороной.

– Отпусти, – попросила душа, цепляясь за белые руки ветра.

Поцеловал Укконен Туули возлюбленную с печалью, зная, что уже никогда не встретиться им, а если и выпадет встреча, то не вспомнит душа перерожденная о том, что было с нею прежде.

Не посмотрит на Укконен Туули с былою нежностью.

Не протянет к нему рук.

Не назовет любимым.

– Не печалься, – просила хааши-келмо, коснувшись ледяной ладони. – Я уйду. И я останусь с тобой. У нашего сына твои глаза... Поклянись, что не оставишь его.

– Клянусь.

И, завернув тело возлюбленной в небесные крылья, положил его Укконен Туули в курган. Тогда-то и увидел молодую волчицу, что забралась в яму и легла, согревая младенца собственным теплом. Он же пил ее молоко.

Взял Укконен Туули сына на руки.

– Имя тебе будет Янгхаар, – сказал он, глядя в черные глаза ребенка. – Клинок Ветра.

Падала кровь сына Акку на младенца, но не причиняла вреда, лишь темной становилась кожа. С той поры вмиг зарастают на ней любые раны. И не страшны ей ни холод, ни жар.

Обратил он взгляд на волчицу.

– Оберегай его... я вернусь.

Долго длилась та ночь. Столь велики были гнев и горе сына Акку, что никто из богов не посмел встать на его пути. Выл грозовой ветер, гнал снежные табуны. Спустил Укконен Туули с поводка сцепки диких вьюг. Рассыпал ледяные клинки. Никого не щадил.

Выпил тепло из домов.

Сорвал крыши.

Вывернул стены и двери открыл, впуская бельмоглазую Акку. Лунный серп ее срезал нити жизней, и падали души в бездонную корзину, где томиться им до скончания времен.

Мстила мать за сына.

А он, поняв, что больше не осталось живых, вернулся к кургану.

Что было дальше?

Кто знает...

Быть может, и вправду остался Янгхаар в волчьей стае, которую отныне возглавил черношкурый вожак, зверь огромный и страшный.

Быть может, взял Укконен Туули сына в ледяные чертоги Акку, где и растил, пока человеческая кровь не потянула Янгхаара к земле.

Быть может, подбросил младенца в каменный храм Акку, один из тех, про которые

говорят, что их не существует вовсе...

Всякое говорят, в одном лишь сходятся: волчица вскормила Янгхаара Каапо своим молоком. Оттого и поросла его грудь черной густой шерстью. Оттого и способен он понимать, о чем плачутся волки. Оттого и сам нет-нет да перекидывается в зверя...

О да, кто не слышал о Янгхааре, прозванном Черным?

О том, как исчез он, чтобы годы спустя появиться при дворе кёнига Вилхо Кольцедарителя, тенью проскользнув мимо неусыпной стражи. Янгхаар сказал, что плоха эта стража. И смеялся, вытанцовывая под градом стрел, но ни одна не коснулась темной кожи. Он же собрал все стрелы и подбросил к потолку, и ни одна не упала, все вонзились в золоченое дерево. А Янгхаар предложил кёнигу службу.

– Бессчетно врагов у тебя, – сказал он, остановившись у подножия золотого трона, высокого, как гора. И, запрокинув голову, смотрел прямо в глаза Вилхо. – Прими мою клятву и дай мне сотню воинов. Увидишь, вскоре не останется непокорных твоей воле.

– Ты нагл! – Кёниг встал.

Огромен он был. И солнечный свет окутывал Вилхо дивной броней. А голос его заставлял сотрясаться колонны в зале. Но не отступил Янггар, не попятился даже. И лишь когда приблизился кёниг, в знак покорности опустил сын ветра на одно колено.

– Я знаю, о чем говорю.

И кёниг, положив ладонь – а слышала я, что они у него тяжелы и не каждый мужчина способен выдержать вес золотой руки Вилхо, – отвечал:

– Что ж, тогда я приму твою клятву и службу. А потом мы разделим хлеб, потому что таков обычай на этой земле.

– Знаю, – ответил Янгхаар, поднимаясь. – Помню.

И никогда больше он ни перед кем на колени не становился. Что же до Вилхо, то он сам преподнес гостю золотые браслеты и на пиру усадил по правую руку, на турью шкуру, и подал рог с южным сладким вином. Клятву выслушав, дал кёниг власть над сотнями аккаев.

Напомнил лишь:

– Ты обещал, что Север покорится моей воле.

Так и вышло.

С той поры звали Янгхаара не Клинком Ветра, но Мечом Вилхо, праведным и беспощадным. И легли под тем клинком мятежники, не желавшие признавать кёнига. А за ними поклонились Вилхо свободные вайены, сдались злые каамы, и даже бледнокожие золотоволосые туиры, которые хвастались, что не победить их в бою, назвали Вилхо своим кёнигом.

А ему все было мало.

И вновь выходили в море драконоголовые корабли, неслись по долинам всадники с волчьими головами на щитах, гудели рога, требуя одного: смирить гордыню, поклониться Вилхо Кольцедарителю малой данью, избегая большой крови.

Зол Меч Вилхо.

Ненасытен.

Точит его изнутри голод неутолимый, от отца, Укконен Туули, доставшийся, гонит вперед ярость, и черная предвечная бездна клокочет в крови.

Силен он дареной нечеловеческой силой.

Умел.

Свиреп, словно дикая вьюга.

И сердца лишен – побоялся Укконен Туули, что не выдержит оно, человеческое, той боли, которую он сам испытал, не захотел, чтобы страдало единственное дитя, вынул сердце из груди да спрятал.

Потому-то не ведает жалости Янгхаар Каапо.

Карает отступников. Стережет границу. И горе тому, кто посмеет бросить ему вызов.

О да, кто ж на Севере не слышал о Янгхааре Каапо?

Но верно, мало правды было в этих сказках, если мой отец решил его обмануть.

Глава 2

Время Ину

Тот год выдался тяжелым для моего отца. Почтеннейший Ерхо Ину, прозванный Тридуба не то за мощь, не то за редкостное упрямство, по первым дождям вернулся в Лисий лог. А ведь прежде в родовое поместье Ину отец заглядывал нечасто.

Забравшись под крышу конюшни – и высоко, и сухо, и вид открывается чудеснейший, – я жевала хлебную корку и смотрела, как медленно тонет в весенней грязи поезд. Мелкий дождь вымочил стяги и пышные собольи хвосты на копьях – знак древности и силы рода. Понуро брели кони, а нарядные плащи отцовской стражи поблекли, будто выцвели. И сами всадники сгорбились.

Дождь шел седьмой день кряду. Дорогу размыло. И нарядный, расписанный багрянцем и золотом возок засел в ямине. Бурая жижа, ее заполнявшая, верно, до самых дверей поднялась. И засуетились люди, кинулись выталкивать, совать под колеса жердины, еловые лапы. Возничий, привстав на козлах, взялся за хлыст, разрисовывая черные спины битюгов алыми полосами.

И я закусила губу – мне было жаль лошадей.

Управляющего тоже, которого всенепременно выпорют за яму. Но лошадей – больше.

Вот возок качнулся. Я почти услышала, как натужно скрипят колеса, проворачиваясь в глиняном месиве, как всхрапывают, налегая на постромки, кони, как ругаются люди.

И лишь отец мой, почтеннейший Ерхо Ину, молчит, хмурит брови да ременной плетью по перчатке постукивает. Но бледнеют люди, гадая, на кого она обрушится.

Скор был на расправу Тридуба.

Справедлив ли, как говорят? Не знаю.

Безжалостен? Пожалуй.

Мне случалось попадать и под руку, и под розги, и под эту самую плеть, сплетенную из тонких кожаных ремешков. От нее и следы оставались хитрые, витые. А я быстро усвоила, что ни крики, ни мольбы, ни слезы не действуют на отца. Впрочем, следовало признать, что на широкой лавке, что до сих пор стоит в углу конюшни молчаливым напоминанием обо всех прегрешениях сразу, случалось леживать не только мне, но и братьям. И лишь Пирккоптичка, синеглазая моя сестрица, никогда не знала отцовского гнева. Если и способен был Ерхо Ину на любовь, то к ней, красавице.

Возок наконец выполз из ямы, и трубачи расчихлили турьи рога. Хриплый зов их возвестил о прибытии хозяина, и вскоре во дворе стало тесно.

Обо мне, как водится, вспомнили не сразу.

Я успела умыться и вычесать из волос труху да сено. Косу плела тугую, стараясь, чтобы ни прядки не выбилось. Платье из плотной коричневой ткани, сшитое мне к зимнему празднику, было чистым, пусть и тесноватым уже. Хуже всего, что я вновь выросла, и теперь подол приоткрывал щиколотки.

Отец будет недоволен.

И я в отчаянной попытке исправить неисправимое тянула ткань, пока та не затрещала. Конечно, ничего-то не вытянулось. Расколотое пополам зеркало, отданное мне, потому как выбрасывать его было жалко, показало, что платье натянулось на груди, а на животе

складками повисло, и подол его открывал уже не щиколотки, но черные оковы неудобных ботинок. Сделанные из воловьей шкуры, они были жесткими, тяжелыми и никак не изнашивались.

Дрожащими руками – предстоящая встреча не внушала мне ничего, кроме страха, – я застегнула кожаный пояс, поправила кошель и пустые ножны.

Была ли я готова?

Нет.

Но на крик управляющего вышла:

– Аану!

Голос его был полон искреннейшего негодования, ведь мне давным-давно следовало бы спуститься и ждать, устроившись в каком-нибудь укромном уголке, но при этом не настолько укромном, чтобы меня пришлось искать. Раньше я так и делала, пряталась и наблюдала за отцом – с восхищением, с надеждой, с ожиданием, что вот сейчас он заметит меня, улыбнется и скажет:

– Вот и моя Аану! Как же ты выросла! Как похорошела!

Возможно – о чудо из чудес! – обнимет. Или хотя бы прикоснется. Но всякий раз в его взгляде я читала раздражение. Отец не давал себе труда скрывать его, как и свою ко мне нелюбовь.

А сегодня Ерхо Ину был особенно хмур. Я разглядывала его исподтишка, удивляясь тому, что с прошлой нашей встречи Тридуба ничуть не изменился. Высокий, кряжистый, в волохатой медвежьей шубе, он и сам походил на медведя, из тех, огромных, которые во множестве встречаются на Запретных холмах. Темную гриву его волос уже украсили серебряные нити, а выдубленную солеными ветрами кожу изрезали морщины. Он сам порой виделся мне сделанным не из плоти, но из красного камня – до того тяжелы, грубы были черты его лица.

Приняв кубок, наполненный горячим сбитнем, Ерхо Ину осушил его одним глотком. Отер ладонью бороду, в которой блестели капли воды, крякнул и сказал:

– Совсем страх потеряли, песьи дети...

Стало тихо.

И управляющий сжал мою руку, словно бы это я была виновата в том, что отец прибыл без предупреждения да неурочной порой.

Ерхо Ину скинул шубу – упасть ей не позволили, подхватили заботливые руки, отряхнули от воды, от грязи, унесли. Он же неторопливо прошелся по зале, оставляя на выскобленных добела досках рыжие глиняные следы. И тотчас кинулись заметать, затирать, спеша старанием усмирить отцовский гнев.

Я знала, что будет дальше.

Грузно опустившись в кресло, Ерхо Ину позволит стянуть с себя сапоги и шерстяные чулки, наверняка тоже отсыревшие. Он выставит ноги, положит массивные ступни с заскорузлыми распухшими пальцами на резную скамеечку. С кухни подадут горячую воду, плоску с разогретым барсучьим жиром, настоящим на семнадцати травах, да стопку полотенец. И я, опустившись на колени у отцовских ног, вновь сыграю роль покорной дочери.

Единственную, которую мне дозволено играть.

Я омывала ноги и вытирала влагу, зачерпывала пальцами жир, запах которого привяжется на день или два, втирала его в блестящую, точно лаком покрытую кожу, в

трещины и мозоли, сплошь застарелые, оттого и болезненные.

Отец молчал.

И мне не позволялось говорить. И лучше вовсе было не поднимать голову.

Да и что интересного вокруг?

Мои братья. Пятеро.

Ими отец гордится.

Они же, вольно или нет, стараются во всем походить на него. Это не сложно, поскольку кровь Ину сильна. И все пятеро высоки, кряжисты да косматы. Так же хмурят брови. Так же цедят слова. Так же губу нижнюю выпячивают, обнажая красные десны да белые крепкие зубы.

Так же не замечают меня.

Будет кому принять Лисий лог и земли Ину, когда ослабнут отцовские руки. Правда, случится это не скоро. Крепок телом и духом Тридуба, даром что шестой десяток разменял.

– Что она все возится? – раздался нежный голосок. – Я устала. И голодна. Пускай подадут!

Пиркко-птичка, сестрица драгоценная – серебряные каблучки, красные сапожки, – отрада отцовского сердца. Когда-то я ревновала. Завидовала. Искала тайком зеркала, пытаюсь понять, чем же она, темноволосая, синеглазая, лучше меня?

Всем.

Ее лицо округло. А узкие глаза сияют. Ее кожа белее первого снега, губы же – алые, будто калина. Тяжелы темные косы Пиркко и год от года тяжелее становятся, не мышинные хвосты – змеи с узорами атласных лент на шкурах. Руки ее мягки, а голос нежен.

Не чает души Ерхо Ину в дочери. И братья спешат угодить.

К ее ногам высыпают драгоценную рухлядь: темных соболей и тяжелых песцов, редчайших чернобурок и мягких полуночных лисиц, чей мех искрится, словно осыпанный звездной пылью. Перед нею раскатывают бархаты и аксамиты, парчу, дымку и шерстяные ткани, окрашенные в пурпур. Ей, пытаюсь милость Ину снискать, шлют в дар шкатулки из сандала и черного дерева, наполненные перцем и мускатным орехом, желтым морским камнем, нефритом, бирюзой. И бесчисленно у Пиркко височных колец, чудесных запястий, ожерелий с красными, синими и белыми камнями, брошей, заколок...

Стеклянных кубков.

Зеркал.

И весь Север молчит, затаив дыхание. Пятнадцать зим исполнилось дочери Ину, хороший возраст, невестин. Пусть берег Ину любимую дочь от постороннего жадного глаза, но и его силы не хватило, дабы слухи пресечь. Летит слава о Пиркко, себя обгоняя.

Нет под небом невесты краше.

Богаче.

Знатней.

И ждут Золотые рода, когда же решит Ерхо Ину назвать имя того счастливица, которому дочь отдаст. Вот только не спешит он расставаться с Пиркко.

Бережет.

Вот и сейчас ответил ей нежно, уговаривая потерпеть. И ногой дернул, меня поторапливая. Я поспешно вытерла излишки жира и, обернув стопу полотном, натянула войлочный башмак.

Все...

Встав с колен, я поклонилась отцу, на что он привычно не обратил внимания.

– Аану, останешься служить. – Голос Ерхо Ину настиг меня у самых дверей, заставив вздрогнуть.

– Да, отец.

А столы уже накрывали. Разворачивались кумачовые праздничные скатерти, открывались дубовые сундуки, чтобы отдать драгоценный восточный фарфор, серебро и алое стекло, что ценится превыше серебра и фарфора. Слуги тащили чеканные подносы с холодной дичью, окороками, хлебом утрепней выпечки, со всем, что только есть в отцовских подвалах. И верно, сбивалась с ног кухонная челядь, тонула в чаду огромной печи, спеша жарить, парить, варить. Не потерпит Тридуба пустого стола. Оскорбится.

– Иди, – зашипел управляющий, толкнув в спину. – Подай.

Он сунул мне в руки золоченый рог, тяжеленный, но боги меня упаси уронить или хотя бы расплескать. Я несла его осторожно, прижав к груди, вцепившись побелевшими пальцами в такую скользкую металлическую оковку.

Ничего. Донесла.

Подала.

И удостоилась милостивого кивка: отец доволен моей старательностью.

Было время, когда я считала эти его кивки, и за каждым мне виделось нечто большее, чем просто похвала. Он ведь и мой отец тоже... и вдруг да наступит время, когда и для меня найдется место за этим столом.

Не нашлось.

Пустая надежда.

Служить мне уже приходилось. Стоять за левым плечом отца, следить, чтобы кубок его всегда был полон, да подавать с блюд, которые первым делом несли ему, те куски, на которые Ерхо Ину указывал.

Ничего сложного. Я справлялась.

Заодно, прислушиваясь к разговорам, неторопливым, ленивым, получала возможность узнать, что происходит во внешнем мире, далеком и от Лисьего лога, и от меня самой. Но сегодняшний ужин проходил в молчании и не затянулся надолго. Поднявшись, отец бросил:

– Идем!

Куда? И зачем?

Я прикусила язык, запирая ненужные вопросы. Кто я такая, чтобы задавать их?

Ерхо Ину подымался по лестнице медленно, останавливаясь на каждой третьей ступеньке, чтобы перевести дух. В животе его урчало. А массивные ладони то и дело ложились на поясницу. Пальцы впивались в бок, словно желали пробиться сквозь байковый халат с соболиным подбоем, рубаху и даже кожу, дотянуться до некой одним лишь Ерхо ощущаемой занозы. И я впервые подумала, что, возможно, не столь уж силен Тридуба.

Мысль эта была крамольна, и я поспешила спрятать ее.

Ерхо, поднявшись на самый верх лестницы, обернулся. Не то чтобы он сомневался, что я следую за ним, скорее оценивал пройденный путь.

Двадцать две ступени. И узкий коридор, в котором уже ждет слуга с толстой восковой свечой. Он тенью скользит, освещая путь, и останавливается у такой знакомой двери.

Сегодня мне разрешено переступить порог.

Горит камин. И шкура на полу влажновата: никак только-только вынесли на улицу, спешно избавляя от грязи. На столе у камина – кувшин и два кубка, впрочем, я не та гостья,

которую будут угощать. Отец ходит по комнате, я слышу, как скрипят половицы под тяжестью его, но разглядываю пол и подол платья и свои руки.

Опять в трещинках, и кожа темная, грубая.

– Сколько тебе лет?

Он останавливается у камина, заслоня огонь и свет.

– Шестнадцать, отец.

На год больше, чем Пиркко. Но разве будет Ерхо Ину помнить о подобных мелочах?

– Хорошо. – Это он не мне, но собственным мыслям. А мне вдруг становится страшно: моя судьба вот-вот переменится, и... я не желаю перемен.

Я уже свыклась с Лисьим логом, со своим местом в нем, которое останется за мной до окончания времен или хотя бы моей смерти. С жизнью, известной на годы вперед.

Я только избавилась от пустых надежд.

И мечтать перестала.

– Ты выйдешь замуж. – Ерхо Ину говорит это странным тоном, мне кажется, что еще немного, и он рассмеется, хотя я никогда не слышала, чтобы отец смеялся. – Да, ты выйдешь замуж.

Ему не нужен ответ.

И я молчу.

– Этот песий сын заслужил...

Так я стала невестой Янгхаара Каапо, прозванного Черным. Правда, вряд ли он догадывался о моем существовании.

Глава 3

Дела человеческие

Пожалуй, следует рассказать о себе.

Я появилась на свет в середине лета, в день, который уже не принадлежал светлокосой Ламиике, хозяйке молодых трав, но еще и не отошел под крыло мужа ее, могучего Тайпи, чья борода сплетена из соломы да конского волоса.

Я появилась на свет в полдень, когда солнце взобралось так высоко, что стало маленьким, как глаз жаворонка. И лишь отражение его в воде было ярким.

Я появилась на свет не на заднем дворе, где рождались дети невольников, не на конюшне или в овине, но на белой половине дома. Трое суток мучилась моя матушка, прежде чем разрешилась от бремени. Говорили, что она была тонкой и слабой, а может – чересчур молодой, я же, унаследовавшая кровь Ерхо Ину, напротив, оказалась слишком велика для нее. И оттого вскоре после моего рождения матушка ушла. К Пехто ли, что приготовил для нее чашу черного меда, к своим ли богам, оставшимся неизвестными, так ли важно? Я осталась одна.

Отец мой, Ерхо Ину, верно, и вправду высоко ценил рыжеволосую невольницу, если согласился взять меня на руки да трижды обвязать своим поясом, тем самым, любимым, из бычьей шкуры, серебряными бляхами украшенным, что и по сей день при нем. Он вынес меня к камину и, невзирая на недовольство жены, показал огню.

Имя дал сам.

Аану.

Лето.

И бросил жрецу пять монет для хозяйки судеб, выкупая для меня хорошую дорогу и удачу.

Полагаю, что позже не раз и не два пожалел он об этой своей слабости, однако, давши слово, Ерхо Ину умел держать его. И меня не отправили в деревню, как иных его незаконных детей. Напротив, в доме появилась кормилица, полногрудая неторопливая Иррике. Мне кажется, что я помню ее голос и запах, уютное тепло огромного ее тела, ласку рук, их надежность.

Года не прошло, как появилась на свет моя сестрица, и Иррике отдали ей. Она стала не первой из моих потерь, но, пожалуй, самой горькой. Говорят, я плакала три дня... Не помню. Не знаю. Возможно.

И не тогда ли я стала осознавать, сколь разительно отличаюсь от иных детей Ерхо Ину?

Незаконная.

Но признанная.

Живое свидетельство давней слабости великого Тридуба.

И память о том позоре, который пришлось пережить его жене. Мои братья о нем не забыли, что до сестрицы, то подобные вещи ее заботили мало. Пиркко-птичка была не злой, скорее уж равнодушной, предпочитая не замечать того, что хоть как-то нарушало уют ее существования.

Нельзя сказать, чтобы меня как-то особенно унижали, били или же пытались сжить со свету. Ерхо Ину, хоть и не испытывал любви к старшей своей дочери, не позволил бы

нарушить слово, богам данное. Нет, мне повезло стать частью рода, пусть везение это в моих собственных глазах и выглядело сомнительным.

К десяти годам я уже прекрасно сознавала, кто я есть. К двенадцати – что меня ждет. Та же тихая жизнь в Лисьем лого. Покорность. Служение. Когда-нибудь – ключи на поясе как знак высшего доверия и власть над слугами.

День за днем. Год за годом.

До самой старости. До самой смерти.

Будут сгорать весны, будут других звать к осенним кострам, над огнем клянясь в любви и верности. Но не найдется смельчака, который рискнет, взяв меня за руку, провести под горячей рябиной. А иного, законного брака, мне и вовсе ждать не следует. Разве даст за мною Ерхо Ину столько золота, жемчуга или лошадей, чтобы муж благородной крови позабыл о моем незаконном рождении?

И не будет мужа.

Не будет детей.

Не будет ничего, помимо трудов во славу рода, для спокойствия моих братьев и драгоценной сестры.

Было время, когда мысли подобные доводили меня до слез, до слепых глаз и прокушенных пальцев, потому как несправедливым казалось все. А потом... потом я успокоилась.

Могло быть и хуже. Во всяком случае, я не буду знать голода и горя.

Побоев.

Нищеты.

Я стану хозяйкой в доме, но буду зваться всего-то ключницей.

Я научусь тому, чего не умеет и никогда не будет уметь сестрица, а жены братьев, пришлые, принятые в род, станут относиться ко мне с уважением.

Нет, я смирилась.

И тут отец говорит о том, что я выйду замуж?!

Он же, махнув рукой, велел:

– Налей.

И я поспешно наполнила кубок вином, подала с поклоном и не отшатнулась, когда твердые пальцы сдавили щеки. Ерхо Ину разглядывал меня пристально, с каким-то новым, жадным вниманием. И я остро осознавала собственную некрасивость.

Да, мне шестнадцать.

Хороший возраст, тот самый, когда сами собой загораются искры, что щедро раздает светлокосая Ламиике девочкам при рождении. Да только мне, видать, не досталось.

Для женщины я была чересчур высока и тоща. Моя кожа от рождения имела неприятный смуглый оттенок. Лицо было узко. И губы – чересчур толсты, а нос, напротив, тонок и длинен. Волосы имели оттенок ржавчины, и лишь глаза мне нравились. Пусть круглые они, рыбы, как говорила сестрица, зато яркого зеленого цвета, не то листовяной камень, не то трава молодая.

И ресницы хоть рыжие, зато длинные, пушистые.

– Что ж не спросишь за кого?

Настроение Ерхо Ину переменилось быстро. Он больше не гневался, но, напротив, пребывал в некоем несвойственном ему прежде благостном расположении духа. И, руку разжав, отпустив меня, он вытер пальцы о халат.

– За кого вы велите, отец.

– Велю.

Замуж... Разве смела я мечтать о подобном?

Свой дом. Своя семья. И крохотный шанс быть счастливой, который я точно не упущу.

– Ты всегда старалась быть послушной дочерью. – Ину осушил кубок одним глотком и вернул мне, взмахом велев наполнить. Руки мои дрожали, и я едва не выронила кувшин, такой вдруг неподъемный, неудобный. Вино вот расплескала, и отец нахмурился, однако не стал ругать. Он сел и вытянул ноги к огню, снял кiset, расшитый бисером, вытащил старую кленовую трубку, чубук которой был изрядно изгрызен.

– Подойди.

Я приблизилась.

– Сядь. – Отец указал на шкуру.

И я присела, готовая ждать столько, сколько понадобится. И сердце, такое глупое безумное сердце, металось в груди. Неужели ошибалась Аану? И отцу не все равно, что с тобой будет?

Он желает тебе добра.

И любит... возможно, хоть немного, но любит.

Разве это не чудо?

Он же набивал трубку табаком; отец действовал осторожно, бережно, но пальцы его были слишком неуклюжи, и табачный лист крошился. От него исходил терпкий особый запах – табак отцу привозили редкого сорта, крепкий, с синим дымом, что подолгу не выветривался из покоев.

– Что ты слышала о Черном Янгаре? – спросил отец, прикусывая чубук.

И сердце остановилось. Ему не нужен был мой ответ, отец сам дал его.

– Выскочка. Подлец, каких свет не видывал. Наглый песий сын... – Ерхо Ину произносил каждое слово медленно, словно смакуя. И я не смела перебить его вопросом.

Янгар Черный?

Кто же не слышал о Янгхааре Каапо?

– Подай. – Тридуб указал на кубок, забытый мною на столе.

Он заговорил, когда я вернулась на прежнее место.

Этот год для семьи Ину выдался тяжелым.

Нет, не оскудели земли могучего рода, не отвернулась удача от моих братьев. По-прежнему выходили в море драконоголовые боевые корабли и возвращались с добычей, по-прежнему родила золотую пшеницу земля, а леса дарили меха драгоценные. И, груженные доверху, выползали ладьи уже не на войну – на торг, чтобы вернуться с тканями, кожами, стеклом и фарфором. Вина везли и золото.

Пожалуй, в том и беда, что богат был род Ину, могуч, и корни его уходили в прошлое, переплетаясь с корнями иных родов.

Двенадцать их было, проросших из пшеничного семени, что обронила мать всего сущего, когда делила меж людьми золотую удачу. А о тринадцатом вспоминать не принято.

Опасно даже.

Древняя кровь, сродняясь с кровью, объединяла. И, оглянувшись однажды, понял вдруг кёниг Вилхо, что древо рода его – лишь одно из многих. Не самое высокое оно. Не самое раскидистое. И не самое крепкое.

Кто и когда заронил кёнигу мысль об измене? Не о той, близкой, почти совершенной, что ткут безлунными ночами, связывая слово со сталью, ненавистью плотно расшивая, но еще о нерожденной, живущей сугубо в мыслях, за которые, как говорят, не судят.

Да и не посмел бы учинить суд Вилхо.

Тронь одного, и многие восстанут. А против всех не удержаться и Янгхаару.

И тогда иной путь избрал Вилхо.

Позвал он в Олений город старейшин от хитрых каамов, вайенов, туиров и всех, кого еще недавно числил врагами. Встретил их ласково, поднес каждому чашу золотую. Назвал другом. Да одарил белыми плащами, которые только Советники носить могут.

Вот и вышло, что Советников стало втрое больше. И что двое из троих глядят в рот Вилхо, ловят каждое слово, желая одного – не утратить тех крох власти, которые им кинули.

Нет больше Совета. Есть сборище стариков, готовых ноги кёнигу лизать.

Так сказал мой отец и сплюнул на пол да плевков растер.

– Мало ему. – Ерхо Ину качал трубку в колыбели ладони, изредка прикасаясь губами к чубуку. Дым поднимался над его головой, и отец виделся мне грозным, словно сам Пехто.

Тот тоже, говорят, черен и космат. А руки его из меди выкованы, с пальцами длинными, с крючковатыми когтями. Зубы и вовсе железные.

– Вечно ему мало, утроба ненасытная. Бойтся, выродок...

И я замирала, понимая, что недозволенные слова произносит Тридуба. И верно, сильный гнев испытывает он, если забылся, посмел сказать подобное.

Но дело не в отце, а в том, что решил Вилхо связать древние рода новыми узами.

Дюжину свадеб сыграли в Оленьем городе, поскольку не нашлось никого, кто пожелал бы спорить с кёнигом. И быть может, сам Ерхо Ину смирился бы, когда б речь сыновей коснулась. Но нет, потребовал Вилхо невозможного – отдать Пиркко-птичку.

Отец говорил.

А мое беспокойное воображение рисовало новую сказку. И Ерхо Ину в своей внезапной откровенности, подкрепленной вторым кувшином вина, находил такие слова, что я будто видела все.

Огромный зал.

И золотую гору трона, на которой восседает кёниг.

Сверху вниз смотрит он на подданных.

Золотой великан?

Отнюдь.

Великана отец уважал бы. А кёниг далеко не стар, но уже толст. И кожу имеет бледную, женскую, с румянцем на щеках. Бороду свою тонким гребнем расчесывает, смазывая маслами драгоценными, отчего пахнет она цветами. Рядится он в шелка и бархаты, золотые цепи на шею вешает.

И, глядя в кубок, вновь мною наполненный, вслух удивлялся Ерхо Ину: как вышло, что этакое ничтожество на троне воссело?

Ответ был известен: крепок трон, пока сильны мечи, на которые он опирается. А нет на Севере бойца лучше, чем Черный Янггар.

Замолчал отец.

И продолжил. Я же закрыла глаза: так легче увидеть то, что за словами стоит.

– Нашли мы для дочери твоей жениха, – таковы были слова кёнига. Все, собравшиеся в

тронном зале, слышали их. И отец ответил со всей учтивостью, гнев сдерживая:

– Молода она еще для замужества. Куда спешить?

Огляделся он.

Велик тронный зал. И красная дорожка кровавой полосой его пополам разделила. Вдоль дорожки на циновках Советники сидят, старцы в белых шерстяных халатах, поверх которых собольи шубы наброшены. Кивают они каждому слову кёнига. И кланяются высокие шапки, драгоценными камнями украшенные, едва не касаются друг друга.

За спинами Советников akkaи возвышаются. Не угроза, но напоминание: вот истинная власть.

– Пятнадцать зим исполнилось, верно? – смотрел кёниг на советников, на akkaев, на Янгхаара Каапо, что тенью в тени трона застыл.

Пятнадцать. Сватали с тринадцати.

– Молода. Слаба, – упрямо повторил Тридуба, радуясь, что, привезя дочь в Олений город, все ж не решился ко двору представить.

Ей-то хотелось, птичке-невеличке, да впервые отказал Ерхо Ину дочери. Нехорошо было при дворе в последние годы. Много золота. Мало чести.

А спокойствия нет и вовсе.

– Ничего, за таким мужем окрепнет. Радуйся, Ерхо, сам Янгхаар, прослышав о том, до чего красива у тебя дочь, пожелал взять ее... в жены.

Он нарочно говорил так, чтобы упрямый Тридуба понял: свадьбе быть. А не быть свадьбе, так быть войне. Но Ерхо Ину был не из тех, кого испугать можно.

– Нет, – ответил он, глядя в снулые глаза кёнига. – Для своей дочери я сам мужа подыщу.

Не ожидал Вилхо подобной дерзости. И верно, подумал, что в этой войне никому не победить. Да, силен Янгхаар, и под рукой его многие сотни служат. Скажи слово – и полетят, понесутся по-над полями, обрушатся на мятежного Тридуба. Однако и у него род могучий. Ответит ударом на удар.

А там, глядишь, и многие, кто терпел, стиснув зубы, поднимутся.

Крепки Золотые рода. Свежи недавние их обиды. И не истлела еще память о детях Великого Полоза.

– Чем же наш жених нехорош? – спросил Вилхо, чувствуя, как давит на темя тяжелая корона. Улыбаться себя заставил. – Разве не силен он?

– Силен. Не слышал, чтобы был кто сильнее.

– Разве беден?

– Богат, – согласился Ерхо Ину. И закивали Советники, спеша согласиться. – Говорят, будто бы у него и рабы каждый день мясо едят.

– Разве собой не хорош?

– А тут, – Тридуба развел руками, – не мне судить. Я не девица.

– Так в чем же дело?

– Всем люб твой жених, кёниг. – И Ерхо Ину не желал войны. Кровь прольется? Да, но на пашни Ину. И полягут в землю те, кому бы эту землю к севу готовить, а вместо пшеницы драконьими зубами взойдут на ней мечи да стрелы. И пусть пошатнется трон, но останется ли кто, способный возрадоваться этакой победе? – Всем хорош. Вот только какого он роду? Уж извини, но стар я для сказок. И знать желаю, что за кровь в его жилах течет. Не гнилая ли? Не порченная? Не оттого ли не говорит твой жених о предках, что стыдится их?

Молчал кёниг. И замерли Советники.

– Ты просишь, чтоб отдал я дочь... но кому? Сегодня удача с ним, а завтра уже и нет. Сегодня он сыплет золотом, а завтра медью побираться станет. Сегодня силен, а завтра – кто знает? И только прошлое может сказать, каким будущее станет.

Правду говорил Ерхо Ину. И Янгхаар, до того часа стоявший неподвижно, тряхнул головой. Шаг он сделал, из тени трона выбираясь.

Расступились перед хозяином аккай. А он заглянул в синие глаза Ерхо Ину, который, усмехнувшись, продолжал:

– И как мне отдать единственную дочь за пса безродного? Да говорят, еще и бешеного.

Ударом ответил на слова Янгхаар. Не сталью – кулаком. Пошатнулся Тридуба, но устоял. Сплюнул кровь, вытер нос и поинтересовался:

– Неужто это все, на что способен славный Янгар?

Собственный его удар мог бы череп быку проломить, да только ушел Янгар, перехватив руку Тридуба. Вывернул так, что затрещали кости. На колени поставить хотел Ину.

Устоял Тридуба. И отступить не отступил, стряхнул Янгара и, подмяв под себя, сдавил.

Я знаю, что отец мечту переломить способен. Но Янгар оказался крепче мечты.

– Крепкий, песий сын! – Ерхо Ину потрогал поясницу. – И верткий, что блоха.

Это было почти похвалой.

Как бы там ни было, но двое сцепились у подножия трона, сляясь друг друга одолеть. Молод был Янгхаар, но ярость его ослепляла. Стар был Ерхо Ину, но еще силен безмерно.

Кто победил бы?

Как знать.

– Хватит! – крикнул Вилхо, и голос его был полон силы. – Оба уйдите с глаз долой! Нет... Стой. Ты, Янгар, готовься к свадьбе. Быть ей через три месяца. А ты, Ерхо, подумай еще раз. Отдай за Янгара свою дочь. А не отдашь... Не будет войны, но не будет и мира. Пока же мы не желаем видеть ни тебя, ни сыновей твоих, никого из рода Ину.

Пришлось Ерхо Ину покинуть Олений город.

А вскоре узнал он, что закрыты отныне гавани для кораблей рода, как закрыты города и села Вилхо для торговли с Ину, как заперты солончаки и шахты с черным жирным углем, который подвозили к кузням Ину, как многое иное, бывшее обыкновенным, вдруг стало недоступно.

– Дочь... – Ерхо Ину смотрел на меня с усмешкой. – Кёниг при всех приказал отдать Янгару мою дочь. И я исполню повеление.

Он огладил косматую бороду, в которой застряли зеленые табачные крошки.

Верно, в тот миг Тридуба радовался, что никто в Оленьем городе не знает правды: у Ерхо Ину две дочери. И одну из них не жаль.

Глава 4

Предсказания

Богат был дом Янгхаара Каапо.

Стоял он на холме, окруженный частоколом. О четырех высоких башнях, о восьми окнах по каждой стороне. Забраны были окна не бычьими пузырями, не слюдой, но стеклом разноцветным. И мастера, привезенные из-за моря, выкладывали из стекла этого целые картины. Вот шагает бельмоглазая Акку, серпом своим бури рассекая, и синие снега ложатся под босые ее ноги. Вот летит за нею на черном волке грозный Укконен Туули с мешком, молний полным. Вот тянет к небесам руки девушка, ветра растрепали темные косы, и бледное лицо мертво, лишь глаза пылают ярко. Вот уже двое стоят, окруженные бурей...

Хороши были мастера у Черного Янгара, и многие желали бы выкупить, немалые деньги предлагали. Да только что Янгару золото? Не продал он умельцев, посмеялся только, бросил небрежно:

– Сами себе отыщите!

Гордость его снедала. И она же открывала двери дома гостям, которых в глубине души Янгар презирал. Пусть приходят, пусть увидят, как живет тот, кого все они считают выскочкой да оборванцем.

Из драгоценного белого мрамора сделаны полы, укрыты пышными восточными коврами, которые мягче меха, и самими мехами. Да не дешевыми куньими или лисьими, не тяжелыми медвежьими шкурами, но самыми что ни на есть дорогими – соболиными да песцовыми.

Ходит по ним Янгхаар, не жалеет.

В доме его стены, снаружи камнем обложенные, изнутри выбелены и расписаны картинами. А где нет картин, там драгоценные гобелены висят. Или клинки из узорчатой булатной стали. Блюда чеканные. Бронзовыми решетками плетения хитрого укрыты каминь. И семь кирпичных труб выходят на крышу.

И распахивал Янгар перед гостями сундуки, хвастал золотой да серебряной посудой. Стеклом. Фарфором. Белым моржовым клыком. Расстилал под ноги ткани, одна другой краше, сыпал монеты и жемчуга да выкладывал на подносы горы из камней, будь то огненные лалы или зеленые листовники.

Пусть смотрят.

Пусть завидуют.

Пусть шепчутся о том, что неисчислимы богатства Янгхаара Каапо, а заодно уж вспомнят, как смеялись над ним, не имеющим ничего, помимо клинка да старой кобылы, подаренной Кейсо. Как называли приبلудышем, отворачивались, плевали вслед и пророчили скорую смерть.

Они и те, кто раньше держал его за горло, думая, что удержат.

Выжил Янгар.

Назло людям. Наперекор судьбе. И не только выжил, но взобрался на самую вершину, выше его – только Вилхо Кольцедаритель. Да и, говоря по правде, нет у Вилхо никакой власти. Разве сам он способен клинок в руках удержать? Или сделать хоть что-то без Янгара?

Слаб кёниг.

И на троне сидит до тех пор, пока Янгар этот трон стережет.

Опасными были подобные мысли, однако грели они беспокойное сердце. И Янгар улыбался собственным сном, видя в них Оленью корону на своей голове. Шепот раздавался порой в душе: а что, разве не хороший вышел бы кёниг? Все лучше Вилхо. Пойдут за ним akkaи, а остальные... остальные – смирятся. Несмирившиеся же погибнут.

Велико было искушение.

Но разум говорил, что, позволив опрокинуть трон, не оставят Золотые рода за Янгаром корону. И клятва, им же данная, держала крепко. Нет, не нужен Янгхаару Каапо дворец. У него собственный имеется, куда какой богатый.

Впрочем, сегодня тесно стало Янгару в собственном доме. Зверем метался он, останавливаясь лишь затем, чтобы перевести дух, вспомнить нанесенную обиду, что, подобно удару хлыста, по старым ранам попала.

Пес безродный? Бешеный?

Выскачка?

Поплатится старик за эти слова! Не хочет Янгара зятем видеть? Пускай! Если не переломит гордыню, то лишится всего. Стальным гребнем пройдет Янгар по землям Ину. И выпустит по следу огненных зверей. Осадит Лисий лог, развалит до камня.

И не останется у Тридуба сыновей – всех заберет Янгар.

А дочь, столь дорогую сердцу Ерхо, за косы приволочет в свой дом, только уже не женою законной, но девкой дворовой.

Да, именно так и случится.

И никто, даже сам кёниг, не посмеет встать на пути Янгара.

– Успокоился бы ты уже, – сказал Кейсо, пожалуй, единственный, кого не страшили эти вспышки гнева. – Выпей.

Налил Кейсо не вина, но кобылье сладкого молока, сдобренного медом, до которого сам был большой охотник. Пронес чашу над огнем, наклонил, жертвуя Небесному Кузнецу его долю, и подал хозяину. И Янгар, опустившись на ковер, скрестил ноги.

Схлынул гнев, и дышать стало легче, будто кто-то разорвал стальные оковы, грудь стянувшие.

– О мести думаешь?

Толстого каама многие полагали слишком неповоротливым, ленивым, а то и вовсе бесполезным созданием. Но знал Янгар, что вряд ли найдется в Оленьем городе боец, равный Кейсо. Что тело его, жиром заплывшее, подвижно, что поступь легка, а обе руки, по-детски мягкие, в перевязках, играючи с клинками управляются.

И не только с клинками.

С Янгаром они тоже умели ладить в те далекие времена, о которых Янгар желал бы забыть.

– О справедливости!

– О мести, малыш, именно о мести, – поправил Кейсо, усмехаясь. И в мутных серых глазах его вновь мелькало нечто такое странное, отчего у Янгара по хребту холодок пополз.

Хотел огрызнуться, да слова в горле застряли.

– Нет в мести пользы ни для тела, ни для духа. – Зачерпнув горсть лесных орешков, Кейсо кинул их в рот. Зубы он имел крупные, белые и клыки подпиливал по старому обычаю каамов. – Или эта девчонка забрала твое сердце?

Фыркнул Янгар: его сердце было с ним, с ним и останется.

– Да я ее не видел ни разу, – признался он.

Крепко стерег Ерхо Ину единственную дочь. И двери его дома редко открывались перед гостями. Стоит ли говорить, что Янгара среди этих гостей не было?

– Говорят, она красива. – Кейсо зажмурился.

Он был охоч до женского полу, едва ли не больше, чем до кобыльего молока. И женщины его любили, чего Янгар никак не мог понять. Невысок был Кейсо. Не так уж и молод – еще в ту, далекую первую встречу показался он Янгару седым стариком. Толст был до того, что все тело покрывали складки жира, на затылке и то они имелись. Каам брил голову, оставляя на макушке тонкий хвост волос, подрисовывал брови синей краской, а губы – красной. И пахло от него цветами.

Над кем другим посмеялся бы Янгар, но Кейсо... Пожалуй, во всем мире не нашлось бы человека ближе. Только ему Янгар в том не признается.

– Правда, – добавил Кейсо, оглаживая массивный свой живот, – не всему, что говорят, верить можно. Не удивлюсь, если девица окажется обыкновенной. А то и вовсе уродливой. Зачем она тебе?

– Затем, что она дочь Ину.

Гордеца Ину, который до сих пор смотрел на Янгара, словно тот был слугой, а то и вовсе – невольником.

Знал?

Нет.

И не догадывался даже, потому как в ином случае не стал бы молчать, выплюнул бы правду в глаза, да с насмешкой. Нет, другое тут. По краю ходил Ерхо Ину, сам не понимая, до чего близок к правде. И виделось во взгляде Тридуба этакое брезгливое пренебрежение, но вместе с тем и понимание: дескать, и невольники полезными могут быть. А что балует Янгара хозяин, так то его, хозяйское, дело.

Тряхнул Янгар головой, и тяжело зазвенело серебро, в косы вплетенное.

Как цепи.

Тяжелыми вдруг стали браслеты на руках, и старые шрамы дернуло призрачной болью.

Приподнялся Кейсо с подушек, обеспокоенный, заглянул в глаза, но Янгар отмахнулся: в порядке он. И с памятью как-нибудь сам управится.

– Скажи, мальчик мой, готов ли ты ради мести себе хомут на шею повесить? – Кейсо теребил бороденку, узкую и серую, как мышинный хвост. – Да на всю жизнь?

Хомуты бывают тяжелыми, особенно если свинцовых пластин навесить.

Нет больше того хомута.

И нет Хазмата.

И нет Янгу Северянина, сгинул он в песках Великой пустыни.

– Какой хомут? – разлепив слипшиеся вдруг губы, спросил Янгар.

– Жену. – Каам вновь откинулся на подушки, почти раздавив их немалым своим весом. – Мсть уйдет, жена останется. Еще раз говорю: подумай хорошенько, малыш. Легко связать нити судеб, да разорвать не выйдет.

Жена... о ней-то Янгар не особо задумывался. Да и к чему? Будет девчонка покорна – будет ей счастье. А нет, так как-нибудь да управится Черный Янгар с женскими капризами. Небось быстро поймет прекрасноокая Пиркко, что здесь ей – не отчий дом.

И вновь рассмеялся Кейсо:

– О дурном думаешь, мальчик мой. Женщину силой брать что воду пороть. Кроме брызг да обид, ничего не будет.

Каам перевернулся на спину. Сложив руки на животе, он разглядывал резной потолок, украшенный завитушками и звериными мордами, золоченый, богатый. И говорить не спешил. Но ждал Янгар, перебирал бусины нефритовых четок, на рунах камней пытаюсь угадать будущее. Никогда-то не выходило. Да и теперь все больше выпадали двойные копыя: «судьба», полумесяц «сердца» и предупреждением перекрещенные серпы. «Война».

– Ей твоих детей носить, – наконец вымолвил Кейсо. – Ей их кормить. Ей первые песни петь. И как знать, что услышат твои дети от матери? Нельзя обижать жену, Янгар. Нельзя недооценивать воду. Один раз поверху пройдешь, а в другой, глядишь, и омут под ногами раскроется.

Была в его словах правда. И глядишь, отступился бы Янгар, но...

...представил он, что вернется Ерхо Ину в Олений город, пусть не этим летом, так следующим – не умеет кёниг долго гневаться. Да и Тридуба умен, пошлет гонцов, поклонится Вилхо золотом, напишет письмо покаянное и прощен будет.

А прощенный, станет глядеть на давнего врага с насмешкой – мол, знай свое место.

Зубы свело от злости.

Не бывать такому!

И все же...

Не хлыст, так мед.

Девчонке всего-то пятнадцать зим.

Она красива? Пускай. Но и Янгар собою недурен.

Разве бывает пустой и холодной его постель? Разве приходится ему покупать невольниц, чтобы согреть ее? Разве те, на кого обратит он взор, страдают?

Он силен. Неутомим. Щедр. И знает, как обходиться с женщинами, чтобы глаза их загорались ярко. Неужто не справится? Ночь пройдет, или две, или десять, но позабудет Пиркко о ненависти, полюбит мужа всем сердцем, а значит, и бояться нечего.

– Я... – Столько лет прошло, но так и не научился Янгхаар выдерживать пристальный взгляд каама. Все чудилось – увидит Кейсо больше, чем дозволено, в самую муть души нырнет, туда, куда Янгар и сам заглядывать опасался. – Я буду хорошо с ней обращаться. Куплю ей все, чего она захочет. Украшения... много украшений.

Целую комнату, на полках которой стоят шкатулки. Деревянные ларцы. И каменные. Маленькие и большие. Украшенные чеканными накладками.

Запертые.

И ключи от них на поясе...

Чьем?

Воспоминание ускользнуло, ослепив блеском драгоценных камней на руках женщины, лицо которой Янгару было знакомо. И непонятная боль сдавила горло. Янгар поднял руки, ощупывая шею. Чистая. Давно уже нет ошейника, и красная полоса, след от него, затянулась. А кобылье молоко смыло горечь.

С памятью порой творилось странное. Или сегодня день был таков, что прошлое норовило выползти?

– Не передумаешь? – Кейсо глядел поверх чаши. – Нет. Вот же упрямец. Дурное ты задумал, малыш. Мне не веришь, так у богов спроси.

И этот совет был мудрым.

Утром, едва дождавшись, когда первые солнечные лучи пройдут сквозь разноцветную

преграду витражей, поднялся Янгар. Умылся он ледяной водой и, распустив косы, сам рисовал на коже узоры желтою охрой. Еще накануне выбрал он золотое блюдо, желтыми камнями украшенное, и наполнил его пророщенной пшеницей. Нес бережно, страшась уронить хоть зернышко. И, выйдя во двор, преклонил колени перед солнцем.

На белый камень поставил Янгар свою ношу и, вытащив кинжал, разрезал ладонь. Кровью окропил пшеницу и ею же нарисовал три руны.

Волны «Ожидания».

Петлю «Надежды».

И летящую птицу «Молитвы».

Кровью же вымазал губы, а раненую руку к земле приложил, отдавая вековечную дань. И тотчас ветер коснулся обнаженного тела, развеял пряди, прошелся по спине. И показалось: смотрит.

Приняли его боги Севера.

В отличие от людей.

– Мать всего сущего, – онемели губы, и собственная кровь казалась кислой, – скажи, что мне делать? Стоит ли брать в жены дочь Ерхо Ину?

Зазвенело золото, рассыпалась пшеница, складываясь узорами. И вновь знакомые руны.

Женщина.

Предательство, повторенное дважды.

Потеря.

Война.

Потянулся было Янгар к рисунку, но ветер стер его, спеша вычертить иной.

Находка. Сломанный меч.

Возрождение.

Долго стоял на коленях Янгар, умоляя богов истолковать волю. Один вопрос и два ответа. А Кейсо, мудрец Кейсо, который славился своим умением руны читать, лишь руками развел да повторил:

– Отступишь.

Быть может, Янгар и послушал бы совета, но постучал в двери дома-крепости взмыленный гонец. Трех лошадей загнал и себя едва ли не до смерти. Говорить уже не мог, лишь мотал головой да шапкой высокой по лбу елозил, пот вытирая.

Янгару же протянул кожаную тубу, трижды белой лентой перевитую. И круглая сургучная печать с оттиском оскаленной медвежьей морды без слов говорила, откуда прибыл посланец.

В тубе обнаружился пергаментный лист.

И трижды прочитал Янгар письмо, чувствуя, как вскипает кровь. Победил! Одолел упрямого Ерхо Ину. На колени поставил весь род его.

– Посмотри! – кинул он письмо Кейсо. – Быть по-моему!

Вот только каам, скользя взглядом по посланию, ничуть не обрадовался. Сказал тихо:

– Женщина. Предательство. Дважды предательство, Янгар. Потеря. Война. Вспомни, о чем предупреждали боги.

– Мой хозяин, – гонец обрел-таки дар речи, – желал бы получить ответ.

Женщина. Предательство. Потеря. Война.

И после – сломанный меч. Возрождение.

Туманный предсказания хозяйки сущего, но...

– Передай... – Янгар облизал пересохшие вдруг губы. Нет, не отступит он. Судьба? Что ж, и судьбы не убоится Янгар Черный. Сколько раз ему случалось переписывать ее начисто. – Передай своему хозяину, что я согласен. Быть свадьбе.

Только вздохнул каам.

Но ему ли спорить с тем, кого и боги остановить не сумели?

Глава 5

Преддверие

Свадьба.

Говорят, что у истока времен в мире не было ничего, кроме самого мира, сделанного из чистого золота. И был этот мир столь тяжел, что однажды под собственной тяжестью разломился пополам. Так появились первые боги. А когда они взглянули друг на друга и взяли за руки, то мир возник вновь. Он был и прежним, и иным. В этом новом мире всему существу была определена его половина.

Свадьба.

Говорят, сколько людей, столько нитей в корзине безумной пряжи Кеннике. Слепа она и нити наугад сплетает, привязывая человека к человеку. Когда удачно, когда нет. Оттого перед свадьбой спешат люди с поклонами к жрецам Кеннике, несут корзины с легкой шерстью, с пряжей, с перламутровыми раковинами, с бронзой или серебром, дарами селятся задобрить безумицу. А некоторые, кто взыскует особой милости богини и желает, чтобы прочна была связь, неразрывна, спускаются в подземелья храма. Там, в крошечной тьме, исчезают имена и лица, но остаются лишь мужчина и женщина. И нет прочнее связи, чем та, которая возникает меж ними.

Свадьба, говорят... многое говорят, а где правда – я не знаю.

Свадьба.

Четыре дня пути. И свадебный поезд роскошен.

Громогласные глашатаи криком и ревом труб возвещают о его приближении. И три дюжины отборной отцовской стражи берегут покой невесты. Ползут за возком повозки, доверху солью груженные, сундуками, в которых и серебряные бруски, и золотой песок, и меха, и наряды...

Ерхо Ину спешит показать: ничего не жаль ему для любимой дочери.

Достоинно войдет она в мужнин дом.

Возок плывет мягко. Покачивается, убаюкивая. И двери его заперты снаружи. А я, завернувшись в плащ с лисьим подбоем, улыбаюсь собственным мыслям, безумным, как и подобает тем, которые милы Кеннике.

Сколько раз мечтала я прокатиться на этом возке. Примерить нарядные сапожки. И платье, пусть самое плохонькое из тех, которые носила моя сестрица. Сколько раз представляла на своих руках ее перстни и ощущала тяжесть браслетов.

И вправду тяжелы, что оковы, рук не поднять.

Вскидываю, но не слышу радостного звона, который был в моих мечтах. Трогаю пальцами монеты ожерелья, пересчитываю, но никак не сосчитаю.

Скоро уже, Аану, скоро...

Скрипят колеса, давят сухие придорожные травы, оставляют на песке след, который вскоре затеряется среди других следов. Сотрут его подковы, затопчут сапоги стражи. И отцовская нога печатью запечатает. Ерхо Ину, как и положено обычаем, сам возглавил поезд. Стоит выглянуть в окно, прозрачным стеклом забранное, и увижу его спину, и алый плащ, стекающий с плеча, и руку, что лежит на поясе, расшитом серебряными бляхами.

И плеть в руке...

Но будущего я страшусь сильнее, чем плети.

Беги, Аану!

Куда?

Куда глаза глядят. Дождись ночи, выскользни тенью, как делала уже в Лисьем лого. Что стоит раствориться тени среди иных теней? Их множество в лесу.

Беги, быстро беги. От отца.

От братьев, которые кинутся по следу, даром что стерегут тебя так, будто ты и в самом деле любимая сестрица. Они стали добры. Им пришлось по нраву отцовская затея.

Сбегу.

Я давала себе слово каждый вечер, но поезд останавливался, и мой возок окружали костры, а лес, такой близкий, уже не казался надежным прибежищем. Напротив, разум твердил иное.

Куда бежать, Аану?

От кого?

От отца? От родичей? От будущего мужа? Ты еще не встретила его, а уже дрожишь, точно вовсе нет в тебе крови Ину. Да и кем будешь ты там, в большом мире, который и видела-то издали. Разве сумеешь выжить одна? Или же сгинешь в лесу, в том самом, который мнишь спасением? Там звери.

А за лесом – люди. И будут ли они добры к безродной чужачке?

Я отступала.

Быть покорной дочерью? Что может быть проще. Я ведь привыкла. И братья, в первые дни пути не отходившие от меня ни на шаг – видно, чуяли мое настроение, – утратили прежнее рвение. Теперь меня оставляли одну, пусть ненадолго. И это одиночество само по себе было подарком.

В какой-то момент я и вовсе смирилась.

Янггар меня не убьет, побоится вызвать гнев богов, разорвать недавно сотворенную нить. А остальное... Стоит ли печалиться о том, что еще не случилось?

Мы остановились в дне пути от усадьбы Янгхаара Каапо. И старший из братьев, красавец Олли, отправился к жениху с серебряной шкатулкой, в которой лежал крупный алмаз.

Я знала, что Янгхаар – или хвастаясь собственным богатством, или желая замириться с отцом, показывая, что не столь уж никчем, – прислал в дар невесте огненный лал величиной с перепелиное яйцо. И что камень этот был цвета крови, чистоты необыкновенной. Ни за одну невесту не давали подобного откупа.

Я видела этот камень, держала на ладони, любуясь, не смея коснуться. Отец же, которому мое восхищение пришлось не по нраву, подхватил лал двумя пальцами, поднял над головой. И камень, поймав солнечный луч, полыхнул гневно.

– Выбрось, – велел отец и, словно опасаясь, что я не подчинюсь этому приказу, сам подошел к окну...

...а после велел принести ларец с камнями и долго, придирчиво выбирал достойный.

Ерхо Ину знал, как оскорбить подарком, и сейчас, глядя вслед Олли, усмехался да бороду поглаживал.

– Завтра... – Тридуба наконец соизволил заговорить со мной. Он сидел на коне, подпирая рукой бок, и знакомая плеть ласкала конскую шкуру. Жеребец прядал ушами, косил на плеть, на меня, грыз удила, и клочья белой пены падали на траву. – Завтра ты станешь

женой этого пса...

Отец бросил поводья конюшему и спешился, не дожидаясь, пока скамеечку поднесут.

– Идем.

У его шатра костер горел ярко. И слуга тотчас подал чашу с горячим медом, которую отец осушил одним глотком. Он вытер усы, крикнул и, глянув на небо, повторил:

– Уже завтра...

Под пологом его шатра царил сумрак, с которым не справлялись восковые свечи.

– Помоги. – Он повернулся ко мне и молча стоял, пока я боролась с фибулой. Застежка была тугой, а пальцы неуклюжими. Но в кои-то веки отец не проявлял недовольства моей медлительностью. Вот что-то щелкнуло, и золотой медведь выпустил плотную ткань. Я успела подхватить плащ, прежде чем он коснулся ковра.

– Туда положи. – Отец указал на легкий дорожный сундук. – И сядь. Слушай.

Он смерил меня внимательным взглядом, упер рукоять плети в широкий свой подбородок, и стало казаться, что из темной его бороды выглядывает гадючий хвост. Я не смела отвести взгляд. Отец вертел рукоять, ременный хвост шевелился, и гадюка грозила выпасть из волосяного гнезда бороды.

– Завтра ты войдешь в храм. Я хорошо заплатил жрицам. Обряд будет проведен по всем правилам. – Ерхо Ину говорил медленно, выверяя каждое слово. – Он и вправду получит мою дочь.

– Да, отец.

Мой ответ не требовался. Но молчание его разозлило бы.

– Вы проведете вместе ночь. А утром...

...утром Черный Янгар узнает, что ему подсунули не ту невесту. Вот только разорвать узы, наложенные жрицами Кеннике, будет невозможно.

– Утром ты передашь ему, что Ерхо Ину не прощает обид. И не боится псов. Даже бешеных.

Для чего?

Янгхаар Каапо и так будет вне себя от гнева.

– Передашь. – Рукоять плети уперлась в шею. – Ты ведь послушная дочь. И все сделаешь правильно.

Его улыбка была такой ласковой, что я кивнула.

Передам... возможно.

Если доживу до утра.

Олли возвращается ближе к полуночи и с поклоном протягивает отцу резной сундук, доверху наполненный топазами. Но Ерхо Ину не удивить камнями, он зачерпывает горсть, разглядывает, а затем бросает топазы в заросли бересклета.

– Утопи, – велит он.

И я знаю, что Олли не посмеет перечить.

Мне жаль камни, они ни в чем не виноваты. И мужа будущего жаль. И себя. Поэтому, когда в сумраке вдруг окликается кукушка, серая странница, которую многие почитают вестницей Кеннике, я спрашиваю шепотом:

– Скажи, сколько лет я буду жить счастливо?

Жду ответа. А его нет... Наверное, и боги не желают заступать дорогу отцу.

Мы выступаем с рассветом. Отец сам осматривает мой наряд. Пусть свадьба этой он не желает, но не позволит мне ее испортить своей неаккуратностью. К счастью, Ерхо Ину

остаётся доволен.

Меня усаживают на спину белой кобылицы, из той дюжины, которую прислал Янгар для невесты – а отец отдался вороными, жеребыми, – и набрасывают на волосы алый покров. Кобылицу ведет Олли, и он не торопится, я же, обеими руками вцепившись в луку седла, считаю шаги под перезвон серебряных колокольчиков. Мир темен.

А будущее и того темнее.

Мы идем долго... наверное, долго. Так мне кажется, однако, когда останавливаемся и меня снимают с кобылицы, а покров – с меня, я вижу, что солнце еще не добралось до вершины елей.

На поляне, очерченной круглыми камнями, нас ждали.

– Вот моя дочь. – Отец отступает за спину, и я оказываюсь лицом к лицу с человеком в синем парчовом халате. Халат расшит журавлями, а человек столь толст, что мне удивительно, как он вообще способен стоять. Шарообразная его голова лыса, а лицо сплюснуто. И я смотрю снизу вверх, отмечая странные вывернутые наружу ноздри и лестницу из подбородков, пухлые щеки, которые по-детски розовы. Его глаза – узкие щелочки меж припухших век, синей краской подведенных, а губы, напротив, выпячены, и с нижней свисают три серьги.

Нет, это не Янгхаар Каапо, но кто-то достаточно близкий, чтобы доверить ему столь важное дело, как смотрины невесты. И человек разглядывает меня столь же внимательно, как и я его. Губы разлипаются, выпуская розовый язык, который трогает то одну серьгу, то другую.

И в этом мне видится сомнение.

Человек, кем бы он ни был, не верит отцу.

– Зачем? – Он вытягивает руку, почти касаясь моей щеки.

– Традиции, – бросает Ерхо Ину, глядя в сторону. И губы его кривятся презрительно. – Ты чужак.

Верно. Почему я сразу не поняла? Наверное, потому, что была слишком напугана.

Чужак.

И потому столь странен.

А традиции... Что ж, традиции помогали отцу, в чем тот увидел знак свыше. Сами боги желают покарать наглеца, пусть и руками Ерхо Ину.

– Традиции, – задумчиво повторил чужак, вновь тревожа серьгу с синим камнем. – У вас интересные традиции. Удобные.

Это было произнесено с насмешкой.

Но что смешного? Все знают, что кривоногий вдовец Кайшари, бог подземных источников, пребывает в вечном поиске. Опостылело ему вдовство. И пусты водяные чертоги. Вот и желает Кайшари новую жену отыскать. Оборачивается он – когда галкой, у которой меж черных перьев три белых есть, когда котом с желтыми глазами, а когда и вовсе человеком. Ходит меж людьми, особенно свадьбы любит, думая, что среди чужих невест отыщет собственную.

Сколько уже украл? Кому ведомо?

Сунет Кайшари девице зеркало из мертвой воды, глянет глупая и вмиг окажется под землю.

Оттого и разрисовывают невестам лица.

Мое лицо покрывал толстый слой белой глины. И старуха, нанятая отцом в ближайшей

деревне, наносила охранные руны. Плотный шерстяной платок лежал на волосах, серебряным венцом придавленный. И семью семь серебряных бусин свисали с него на длинных нитях преградой от дурного слова и глаза завистливого.

Но не в традициях дело, а во взгляде толстяка, внимательном, чуть насмешливом, словно бы дано было этому человеку видеть больше, нежели прочим. И я взмолилась богам, чтобы он увидел правду.

Пусть вернется.

Пусть расскажет Черному Янгару об обмане.

Пусть разорвет эту нелепую, еще не связанную нить, пока не поздно.

Отец будет зол, но я привыкла.

– Скажи, – Ерхо Ину хлопнул плетью по голенищу, – что если ему не по вкусу невеста, то не поздно отступить.

– Ты сам знаешь, – в голосе толстяка прозвучал укор, – что Янгар не отступит.

Ерхо Ину кивнул.

Знает.

И надеется.

Что он задумал?

И как быть мне? Я ведь могу предупредить. Сейчас. Всего два слова, и толстяк поймет. Он уже почти понял, но отчего-то продолжает притворяться обманутым.

А отец... он не простит предательства.

Черная плеть громко хлопнула по голенищу, подтверждая, что не будет мне пощады, вышвырнет из дому? Запорет? Продаст? В этот миг я поняла, что боюсь отца куда сильнее, нежели чужака и Черного Янгара.

– Зачем тебе война? – Толстяк задумчиво касается кончиком языка серьги, с которой свисает крохотный колокольчик. – В мире жить надо.

– И разве я не показал, что готов к миру? – Ерхо Ину кладет ладонь на мое плечо.

Тяжела она.

И толстяк кивает, смиряясь с неизбежным. От этого кивка все тело его приходит в движение, и колышутся жировые складки, шевелится шелк, и золотые журавли, вышитые на нем, кружатся в танце, хлопают крыльями.

– Что ты скажешь Янгару? – Снова щелкает плеть о голенище сапога, и я вздрагиваю.

– Правду. – Теплые пальцы все же касаются щеки, но осторожно, так, чтобы не потревожить краску. – Что его невеста диво как хороша.

И я понимаю, что говорит он именно обо мне.

– Янгар – хороший мальчик. – А это уже сказано для меня. – Он тебя не обидит.

И он уходит, а мы остаемся вдвоем.

Отец зол.

А я... больше не боюсь. Почти.

– Ты правильно сделала, что промолчала. – Ерхо Ину касается плетью щеки, точно желая стереть то, другое, ласковое прикосновение. – Запомни, Аану: нет ничего дороже верности.

Кому?

Отцу? Братьям? Роду?

Или будущему мужу?

Но эти вопросы лучше оставить при себе. Безопасней.

А кукушка все же очнулась и, спеша загладить вчерашнюю вину, принялась насчитывать мне счастливые годы. Много...

Дожить бы.

Глава 6

Дом Кеннике

Храм врос в землю. Сложен он был из огромных валунов, принесенных Хозяйкой Зимы в незапамятные времена, когда море было сушей, а по суше ходили касатки. Как знать, что помнят эти камни, каждый из которых размером больше моего возка?

Они побурели и постарели, украсившись рисунком трещин. Сползали с валунов моховые покрывала, и темный гранит поблескивал, беззащитный перед солнечным светом.

Мы ждем.

Отец держит меня за руку, словно опасается, что именно здесь я сбегу.

И братья стерегут мою тень.

Солнце же медленно ползет по небосводу, вымеряя последний день моей жизни. Еще немного, и не станет прежней Аану. Сумерки ложатся паутиной, и я, осмелев, нарушаю негласное правило. Сквозь тень ресниц и серебряных струн, которые перебирает ветер, я всматриваюсь в лицо отца. Что пытаюсь найти? Сомнение? Сожаление? Печаль?

Я ведь все-таки кровь от крови его...

Отец хмурится: он ждать не любит.

Но отгорают закат, и отворяются ворота. Слепая старуха протягивает руку, и мой отец вкладывает в нее солнечный камень.

Плата.

Братья ставят у ног слепой сундук с золотым песком.

– Иди! – Ерхо Ину толкает меня, и тонкие пальцы старухи, сухие, как прошлогодние ветки, обвивают запястье. Теперь не сбегу.

Не вывернусь.

У ворот я все-таки оборачиваюсь, хотя перед этим давала себе слово, что не буду этого делать. Я вижу спину отца, и алый плащ, и руку, и плеть в ней... И на что я вообще надеялась?

За воротами темнота. И расшитая повязка, которую протягивает слепая, не нужна. Но кто я, чтобы спорить с Проводницей? Надеваю, добровольно принимая слепоту в угоду Кеннике. Иду. Шаги крадет пустота. Эха нет, но есть ощущение бесконечности.

Вниз.

Шелест воды. И беззвучное касание нетопыриного крыла. Я вскрикиваю, но пальцы на запястье сжимаются, предупреждая: не стоит тревожить покой этого места.

Мы идем.

Все время прямо.

Все время вниз.

И наверное, вскоре дойдем до самих подземных родников, в которых варится черное болотное железо. А может, и того ниже.

Слепая Проводница останавливает меня рывком. И повязку снимают. Я моргаю, избавляясь от непрошенных слез, а Проводница легонько шлепает по губам: молчи, Аану.

Смотри.

Ни одному человеку не суждено заглянуть в подземелья Кеннике дважды.

Круглый зал. Черный обсидиан пола. И белый камень стен. Потолок куполом. И

тележное колесо на четырех цепях почти касается пола. Три дюжины свечей, закрепленных на нем, горят ровно, бездымно. Пламя отражается в полированных стенах, сполохи расплзаются по полу, метят его алым, рыжим. И пляска живых огоньков завораживает.

В центре зала – бронзовая жаровня с россыпью крупных углей. По обе стороны ее – белые лавки, на которых дремлют простоволосые женщины в белых одеждах, белой же нитью расшитых.

Плакальщицы.

Дюжина.

Ерхо Ину не поспешил.

Проводница подводит меня к жаровне и, положив руку на затылок, заставляет склониться.

Ниже, Аану.

Разве тебе есть чего бояться? Огонь выползает из трещин на углях. Алые цветы на черных камнях. Он раскрывается лепесток за лепестком, тянется ко мне, опалает жаром, но, так и не коснувшись лица, бессильно опадает.

И где-то далеко, громко и гулко, звонит медный колокол – пришла невеста.

Ладонь, давившая на затылок, исчезает, как исчезает и сама Проводница, зато двенадцать плакальщиц просыпаются. Они вскакивают и скидывают руки, так что широкие рукава сползают до самых локтей, обнажая худые предплечья с сеткой шрамов. Сегодня появятся новые.

И костяные, скрюченные пальцы привычно терзают плоть. Из сомкнутых губ раздается вой. Этот звук, рожденный двенадцатью полуслепыми, полубезумными женщинами, отражается от стен. Свечи пляшут, не в силах выдержать притворного горя.

Мне же хочется бежать.

Нельзя, Аану.

Слушай.

Сегодня ты, Аану Ину, исчезнешь. Чужие слезы сотрут твое имя, а белый погребальный саван, который набросили на мои волосы, укроет лицо.

Нельзя спуститься в нижний мир, не расставшись с верхним. И руками плакальщиц боги перережут пуповину твоей жизни. Пусть рыдают, терзают руки и кормят огонь кровью, выказывая глубину своего лживого горя. А ты слушай.

Голоса дурманят так же, как и дым, что поднимается над жаровней. И толстая женщина, мать двенадцати сыновей – другим не позволено ходить по грани, – подбрасывает на угли куски ароматной смолы. Та плавится, растекаясь по пеплу желтоватыми солнечными лужицами.

И вспыхивает белым.

Слушай, Аану. И смотри.

Эта женщина идет к тебе, переваливаясь с ноги на ногу. И огромные ступни ее босы, а живот нависает массивным шаром, он колышется при каждом шаге, и ты вдруг вспоминаешь того толстяка... Он ведь понял. Все понял.

Но не предупредит Янгара.

Почему?

В руках кормилицы деревянный поднос с резными чашками. Они, соприкасаясь краями, вызванивают собственную мелодию, в которой не остается места сомнениям. И, повинувшись взмаху руки, плакальщицы подхватывают тебя, волокут, укладывают на каменную лавку.

Сползает душный саван, и над тобой склоняется кормилица.

Она бережно смывает с твоего лица глину и краску, и вода течет по губам. Пить хочется ужасно, но я не имею права разжать губ. Здесь и сейчас я мертва.

Меня раздевают.

Жаль. Никогда прежде не было у меня вещей столь чудесных.

Ловкие пальцы распутывают сеть серебряных шнуров. И стаскивают платье из белой оленьей кожи, выделанной столь тонко, что эта кожа мягче бархата. Она расшита золотыми пчелами и крохотными алмазами. Пиркко не хотела отдавать его, но отец настоял: я должна быть одета достойно невесты из рода Ину.

Умелые руки стягивают семь бархатных юбок, одна другой тяжелее, – еще один его подарок. Как и сапожки на посеребренных каблучках. В кои-то веки обувь не натерла мне ног.

В тонкой рубахе из бязи лежать холодно, но мне не оставляют даже ее.

Я умерла.

Наряд вернут отцу, и, быть может, Пиркко снизойдет до того, чтобы его примерить. Носить не станет, не после меня, но... она любопытна. И сама мечтает о том дне, когда ее назовут невестой.

Мне же утром принесут другое платье, женское, подаренное мужем. Но до утра далеко.

Да и будет ли оно для меня?

Не думай об этом, Аану. В пещерах Кеннике нет места заботам верхнего мира.

Постепенно холод уходит. Меня омывают. И белая ткань, уже не савана, но родильной простыни, прилипает к коже. Кормилица бродит, громко постанывая, и плакальщицы, беловолосые вороны, смолкают.

Смерть была.

Пришло время рождения. Стоны становятся громче, и в этом мне тоже чудится музыка, лишенная слов, но понятная, верно, и вправду существующая в крови. И пелена сползает с моего лица. Я вижу колышущийся живот и полные груди с выпуклыми синими венами. Кормилица склоняется надо мной и, сдавливая грудь руками, выжимает каплю молока.

– Пей, – шепчет она, и я послушно слизываю каплю с губы.

Молоко сладкое. А кормилица, зачерпнув большими пальцами алую краску, проводит по щекам линии, а потом и вовсе прижимает к лицу горячие ладони. Они пахнут маслом и молоком.

– Плачь, – приказывает она и давит на щеки, заставляя мои губы раскрыться. – Плачь, дитя.

И голос ее нежен. Я плачу. Сыплются слезы, смывая краску, и кормилица одобрительно кивает: я родилась.

Обнаженная.

Безымянная.

Но все еще связанная с прошлым. И кормилица уходит, чтобы вернуться с новым подносом. На нем золотой грудой лежат украшения, подаренные отцом. Цепочки хитрого плетения. И подвески из камней. Височные кольца тонкой работы. Перстни-паутинки. Тяжелые запястья с алмазной чешуей...

– Что из этого ты оставишь? – спрашивают у меня.

Старый обычай – связать две нити обрезанной жизни, обменявшись дарами. И любой здесь будет достойным, но...

Я плыву. От запаха дыма, от тяжести краски на моем лице, от сознания того, что той, прежней, меня уже не существует.

– Выбери. – Кормилица заставляет меня разжать пальцы и коснуться золота.

В этот миг я понимаю, что оно – чужое.

Подарок отца? Не мне, Аану, нелюбимой дочери, но той, кто должна была быть на моем месте. Золото... и снова золото, лалы и листовник... Чужая роскошь, к которой мне противно прикасаться. А из моего... Это не тот дар, который уместен, но ничего другого у меня нет.

Этот камушек я нашла на берегу реки. Не драгоценный, но самый обыкновенный, разве что цвета удивительного – ярко-зеленого, с золотой искрой. И формы круглой. А в центре – дырочка, сквозь которую я продела шнурок. Камень был моим украшением последние лет семь. Оберегом, пусть и не освященным в храме. А еще сквозь него я смотрела на солнце. И солнце становилось зеленым, а камень пил солнечный свет, чтобы потом отдать его миру. Он возвращал мне лето, лишь на несколько мгновений, но...

– Уверена?

Я сжала камень в кулаке. И тонкий шнурок обернула вокруг запястья, чтобы не потерять ненароком. Дар, он ведь должен быть от сердца.

– Хорошо. – Кормилица погладила меня по голове, словно я и вправду была ее дочерью. – Закрой глаза. И думай, о чем ты попросишь богиню.

– А о чем можно?

– Думай.

Я согревала камень. И лежала смирно, позволяя названной матери, приведшей меня в подземный мир, расчесывать волосы, заплетая их в две девичьи косы.

Она же не спешила, выглаживала пряди костяным гребнем, пела колыбельную.

О чем просить безумную Кеннике? О том, чтобы она и вправду связала нить моей жизни с нитью Янгхаара Каапо. Тогда, пусть и в гневе, он не тронет меня. Еще о том, чтобы гнев этот был недолгим, чтобы чудо случилось, чтобы мой муж простил меня... Чтобы он и вправду стал мужем. О семье, которая настоящая. О детях и доме. О том, чтобы жить в любви и согласии. Разве это много?

– Немного, – согласилась кормилица.

Неужели я говорила вслух? Или и вправду из синих глаз толстухи на меня смотрела безумная пряха? А если так, то... исполнит ли она просьбу?

– Всему свое время. – Моих губ коснулся палец. – Помолчи.

И я замолчала.

Мысли текли неторопливо, как наша река в середине лета.

Каков он, мой будущий муж?

Стар?

Не старше отца.

Похож ли на него? Или на моих братьев? Красив ли? Про Олли говорят, что он красавец. И еще про нашего конюха, которого отец в прошлом году самолично порол и шкуру едва не спустил. А потом велел жениться. У конюха были кудрявые волосы и гладкая борода, которую он салил, укладывая волос к волосу.

Борода, наверное, колется...

...и если Янгхаар курит, то, как у отца, пропахла дымом.

Не расчихаться бы...

И правду ли говорят, что его с ног до головы черный волчий волос покрывает? И если так, то от Янгара, наверное, псиной пахнет и волос жестким будет... Или нет?

Смешно! Об этом ли стоит печалиться? Но меня вдруг одолело любопытство. Я лежала, пытаюсь представить себе того, кого все равно увижу через несколько часов. Но перед глазами вновь и вновь вставал Ерхо Ину. И плеть в его руке.

– Не бойся, дитя, – сказала кормилица. – Никогда и ничего не бойся.

Я не умею не бояться, но постараюсь.

Усилим воли отбросив ненужные мысли, я просто лежала, позволяя разрисовывать тело. Кормилица растирала и смешивала краски. На коже моей расцветали узоры, рассказывая историю моей жизни.

Прошрое.

Настоящее.

И немного будущего.

Вот только прочесть эти узоры могли лишь те, кто посвятил себя Кеннике. Пройдет немного времени, и краски сменят цвета, как меняется с годами человек. И попробуй угадай наперед, каким богам вручила судьбу безумная старуха.

Кто будет стоять за моими плечами в эту ночь?

– Вот и все, дитя. – Кормилица поднесла к моим губам чашу, где молоко смешалось с вином. – Выпей и ничего не бойся. Богиня защитит.

– Спасибо.

Вино было на травах, и последнее, что я запомнила, – как меня подхватывают на руки и несут, баюкая.

Куда?

Какая разница...

Глава 7

Осколки

Свадьба.

Пылают костры от края до края земли, расцветают целыми созвездиями. Гудят барабаны из оленьей кожи, восславляя щедрость жениха. Много гостей созвал Янгхаар Каапо. Еще в первый день лета разлетелись гонцы, понесли резные шкатулки из южного ароматного дерева, а в шкатулках – шелковые свитки.

Спешил Янгхаар всех известить: сдался упрямый Ерхо Ину, согласился отдать за безродного любимую дочь. И зовет он достойных аккаев разделить радость.

Откликнулись старые рода. И послали ответ, что в назначенный срок придут, дабы засвидетельствовать, что случилось небывалое.

Сам Вилхо Кольцедаритель послал жениху плащ, подбитый горностаем.

Великая честь.

В милости Черный Янгар. Силен он, как никогда прежде. И собственная слава кружит голову.

– Взгляни на них. – Янгар стоял у окна, запрокинув голову, и свежий ветер гладил смуглую кожу. – Все сбежались.

– Это меня и беспокоит, – миролюбиво заметил Кейсо. – Именно что все. И среди них у тебя нет друзей.

Он оторвал темную виноградину и, поглядев на просвет, в рот отправил. Перед Кейсо на полу лежали пять шелковых халатов, и каам уже третий час разглядывал их, пытаясь почувствовать, какой из пяти более соответствует настроению и случаю. Янгхаар не понимал этого. Он бы взял самый дорогой. Или самый яркий. А тратить время на раздумья...

И годы спустя его удивляли привычки друга.

– Вся золотая дюжина тебя ненавидит. – Каам протянул было руку к темно-синему, расшитому тележными колесами и выюнком, но в последний миг передумал. – А ты открыл им двери собственного дома.

Янгхаар думал об этом.

У ворот его усадьбы собралось три сотни гостей. И каждый из них спит и видит, как бы нож в спину воткнуть. Но ведь не скажешь, чтобы оставили свиту за порогом. Оскорбятся. Или решат, будто испугался Черный Янгар.

– Ерхо Ину любит дочь. – Янгхаар вытер влажные щеки. В последние дни он не находил себе места. И причиной волнения была эта девочка, которая уже сегодня ночью будет принадлежать ему. – Все говорят об этом.

– Любит... говорят... Вот только хватит ли этой любви, чтобы устоять перед искушением?

– Двух сотен аккаев хватит, чтобы удержать Ину от глупостей.

– Надеюсь, – миролюбиво произнес Кейсо, устремив взгляд на халат багряный, с золотым шитьем по подолу. – Очень на это надеюсь...

Две сотни.

С Ину явились всего три дюжины. А остальные и того меньше привели. Да и вряд ли рискнут в чужую свару ввязываться: Золотые рода никогда не умели договариваться друг с

другом.

Но Кейсо прав, беспокойно на душе.

Отступить?

Поздно.

В полдень распахнутся ворота храма, пропуская жениха, и откроются вновь уже на рассвете. Таков обычай, и не Янгару его ломать.

– Пора. – Янгхаар вытер ладонями мокрые щеки. – Так, значит, она тебе понравилась?

– Она? – переспросил Кейсо, который со смотрин вернулся задумчивым. – Понравилась.

Только... я слышал, что у Пиркко волосы черные. А эта с рыжими была.

Он сказал про волосы сразу, как вернулся домой.

Черные. Рыжие.

Ерхо Ину не посмеет обмануть богов. Он дал клятву на крови, что отдаст за Янгхаара дочь. И значит, так тому и быть.

– Не ходи. – Кейсо отодвинул миску с виноградом. – Я знаю, что ты меня не слушаешь, но... не ходи, Янгар. Неспокойно мне. Пусть девочка остается с отцом, а ты себе другую найдешь. Мало ли невест на Севере?

Много.

Но разве сравнятся они с дочерью Ину по древности рода, по богатству, по силе отца? Да и не желал Янгар другой. За прошедшие недели Пиркко-птичка всецело завладела мыслями его. И не красота была причиной, а то, что не умел Янгхаар Каапо отступать.

И сейчас не отдаст он своей добычи ни людям, ни богам.

– Дурак, – спокойно заметил Кейсо, поднимая темно-лиловый халат, расшитый желтыми одуванчиками. – Только если вдруг... Помни, что за свои ошибки нельзя винить других.

Запомнит.

И оседланы кони. Свита готова. Сияют щиты. Скалятся с них рисованные волчьи головы. Высоко подняты копыта, и ветер шевелит алые праздничные ленты, что повязаны под остриями. Трубят рога. И медленно открываются ворота.

И жеребец Янгхаара, вороной, тонконогий, вдруг пятится, грызет удила.

Нехороший знак.

– Вперед! – Янгар огрел жеребца плетью, и тот поднялся на дыбы, заржал, затряс гривой. И звон серебряных бубенцов подстегнул его.

Вперед. Быстрей.

Сквозь лагерь, что раскинулся от ворот поместья. Мимо костров, людей, у костров собравшихся. Свистят и хлопают, кидают под копыта коню тростниковые стрелы с пожеланием славной ночи. И ветер ныряет за спину, плащ, словно крылья, разворачивает.

Вот позади остаются и лагерь, и поле, и сама дорога.

Храм стоит. И ворота его открыты.

Ждут Янгара слепые жрецы, готовые провести его в самые недра земные, где плавятся и рудное железо, и судьбы человеческие. Отступить еще не поздно, но...

Бросил поводья Янгар, спешил и смело шагнул за ворота храма. Только на пороге черной дыры поднял зачем-то голову – в небе кружил, высматривая добычу, черный падальщик.

Воспоминание ударило наотмашь.

Красные пески Великой пустыни.

Узкая тропа по гребню бархана. Вереница верблюдов. И вереница рабов. Исушающая

жара и дорога, которой нет конца. Хозяин, укрытый от зноя под пологом переносного шатра, играет на кифаре. Он перебирает струны лениво, и звуки, резкие, нервные, ранят слух.

А в выцветшем небе кружится падальщик. И тень его летит вслед за караваном. Уже пятый день...

Остановка.

Надсмотрщик проходит вдоль цепи, проверяя, цел ли товар. Хозяин не любит зряшных трат, и за надсмотрщиком идет старый, проверенный раб с бурдюком. По чашке воды каждому.

Вода – драгоценность. И Янгу уже усвоил, что пить ее нужно медленно. Он касается края деревянной чашки губами, и вода сама устремляется к нему, просачиваясь сквозь трещины в коже, сквозь саму кожу, на сухой неподвижный язык.

А падальщик спускается ниже. Он еще надеется на добычу, привык, что караваны оставляют след из мертвецов. Но хозяин умеет считать деньги и выбирать рабов. Много лет он ходит к побережью, и нет такого корабельщика, который не слышал бы про Азру-хаши. Придирчив он, скуп, и глаз наметан: нет в караване слабых. И по приказу хозяина растягивают тканый полог, под которым можно переждать полуденную жару. Рабы сбиваются стадом. Молчат. Все слишком устали, чтобы говорить, и только Виллам, темнокожий саббу, ложится на песок и бормочет, что сбежит.

Еще немного, и обязательно сбежит.

Ему ведь жара нипочем. На его родине вовсе не бывает холодов. Там деревья растут до самого неба, и на вершинах их зреют круглые желтые плоды. Одного хватает, чтобы наестся на неделю. Плоды сладкие, сочные, и вкус их Виллам не забудет до самой смерти.

На его родине реки неторопливы. В них обитают огромные ящерицы с зубами, каждый – в руку взрослого мужчины. Шкура этих ящериц столь толста, что не пробьет ее ни гарпун, ни копье. Только на бледном горле их есть особое место, в которое метят опытные охотники.

Мясо ящерицы пахнет гнилью, но вот хвост ее вкусен.

– Заткнись, – просит Янгу на ломаном хамши.

Полгода на побережье в тесном загоне, куда сгоняли негодный товар, – достаточный срок, чтобы выучить чужой язык. И саббу понимает, но продолжает бормотать, рассказывать о зубастых рыбах, костлявых, но с мясом нежным, которое само на языке тает.

Глупец.

О еде нельзя говорить – будет хуже. Только саббу не понять. Он мыслями еще дома. Он по-прежнему силен и славен, у него пять жен и множество детей. Не выживет. Янгу ли не знать, что такие, которые только прошлым дышат, в настоящем слабы. Прошлое надо забыть. Вот у него получилось, память закрыла то, что было до побережья, загона и чернолицего смешливого надсмотрщика, который изредка совал Янгу недоеденные лепешки. И приговаривал:

– Айли-на!

Бери, отъедайся. Тощих не любят, не покупают. Плохо это.

Сбежать! Не здесь, позже, когда караван дойдет до предгорий.

Куда?

Куда-нибудь, пусть на самый край мира, лишь бы там не было этой жары, песка и выцветшего неба, по которому тенями скользят падальщики.

И Янгу, переворачиваясь на живот – солнце опалает и сквозь ткань, – закрывает глаза. Он видит этот новый дом, возможно, даже помнит его, хотя и отрекся от своей памяти.

Но Север идет по его пятам.

Мысли о прошлом, казалось, стертом, ушедшем в небытие, не отпускали. Янгхаар слушал заунывный вой плакальщиц, сквозь веки смотрел на отблески пламени. Нынешняя его смерть не имела ничего общего с той, настоящей, которая много раз подбиралась к Янгару.

Эта пахла молоком и свечным воском. Маслом, которым разводили краски. Женским потом.

И еще – сырым камнем.

Настоящая воняет гноем и кровью, у нее вкус песка на губах и голос надсмотрщика, который требует подняться. Или смрадное дыхание хищного зверя – того медведя, который, поднявшись на задние лапы, медленно подбирался к Янгу.

И толпа кричала:

– Рви! Рви!

У них был один голос на всех. И медведь покачивался, переступая с лапы на лапу. Старый, со включенной грязной шерстью, с глазами, заплывшими гноем, он чувл легкую добычу. И шел, желая не столько сожрать, сколько разорвать.

Боль за боль.

А нож в руке – слишком мало.

И Янгу отступает. Он пятится до самой ограды, не слыша криков и улюлюканья – толпа желает драки. И стражник, которого тоже захлестнул азарт, нарушает правила. Он просовывает сквозь прутья копьё и тычет острием в плечи Янгу, поторапливая:

– Давай!

Наверняка он поставил на время. Сколько отвел десятилетнему мальчишке, слишком дерзкому, чтобы из него вышел хороший домашний раб? Слишком упрямому, чтобы и вправду учить на бойца? Минут пять? Они вот-вот истекут, и стражник потеряет деньги.

Почему-то именно эта мысль разозлила Янгу.

– Вперед! – Копье вспороло кожу на предплечье, и эта новая боль вдруг все изменила.

Страх исчез. Осталась ярость. Иссущающая, как пустыня Дайхан. Всеобъемлющая.

Алым пламенем полыхнуло в глазах. И руки сами вцепились в копьё, дернули, выворачивая, и стражник не то от неожиданности, не то от испуга выпустил древко.

Янгу помнил, как стучала кровь в висках. И что стало вдруг тихо-тихо. А медведь, подобранный вплотную, покачнулся и медленно, как-то очень уж медленно стал опускаться на четыре лапы. Янгу вдыхал смрадное его дыхание. И тянулся к оскаленной пасти, готовый впиться в нее зубами. Он видел черные губы, бледные десна зверя, длинный язык, свернувшийся улиткой, и желтоватые сточенные клыки.

Рев оглушил. И что-то дернулось, норовя выскользнуть из рук.

Янгу не позволил. Он стоял, навалившись всем телом на древко, по которому лилась горячая медвежья кровь. И к звериному голосу добавился совокупный вой толпы.

А зверь умирал. Он упрямо полз вперед, норовя дотянуться до человека, насаживая самого себя на копьё. И когда древко, затрещав, раскололось, Янгу отскочил в сторону.

Он был быстр.

И ловок.

И странное алое, стучавшее в голове, не позволяло сдаться. Еще остался нож в руке. И надеждой – широкая кровавая полоса, которую зверь вычертил на песке. Вот только опыта

не хватало. И удар лапы перебросил Янгу через всю арену. Последнее, что он услышал, – восторженный рев толпы.

Он пришел в себя в сыром подвале, куда сносили раненых. И смуглокожий лекарь с длинной белой бородой, похожий на цаплю в чалме, бродил меж тел. Янгу не мог дышать от боли, но заставлял себя втягивать спертый воздух. Перед глазами плыло, но закрывать их было нельзя. Янгу знал, что сон, забытье в подобном месте – верная смерть.

И смотрел на синие атласные туфли с загнутыми носами.

За лекарем шли ученики. И когда он останавливался, указывая то на одно, то на другое тело, ученики вытаскивали его из общей груды. Тела уносили. И Янгу молился, чтобы выбор остановили не на нем. Если уж умирать, то здесь, от честных ран, а не на каменном столе, под рукой мальчишки-недоучки.

И боги снизошли к просьбе. Лекарь переступил через Янгу.

Хозяин появился позже – не прежний, новый. Его лицо проступило перед глазами Янгу сквозь полог боли. Крючковатый нос. Впавшие щеки. И усы, которые Хазмат подкрашивал хной. Тогда Янгу не знал имени, но зачарованно уставился на эти усы, длинные, заплетенные в косы, чем-то похожие на плети... Плети Хазмат очень даже жаловал.

– Живой? – Он раздвинул Янгу веки. – Живой... Хорошо. Держи!

На грудь упала монета, шестигранный дирхем с дыркой в центре.

Дирхем – это много. Две лепешки с мясом и еще кувшин воды или дрянного кислого вина, которое иногда приносили в загон.

– Это твоя нынешняя цена, – сказал Хазмат и вложил монету в руку. – Но года не пройдет, и ты будешь стоить в сто раз больше. Если выживешь.

Янгу выжил.

Спустя год его цена и вправду достигла ста дирхем. Через два – выросла вдесятеро. Через пять сам хатами-паша предлагал цену в серебре по живому весу. А через шесть Янгу удалось убить хозяина и сбежать.

Год ушел на то, чтобы добраться до Севера.

Десять – чтобы стать тем, кем он является сейчас.

И разве это не достойный повод для гордости? Золотые рода кичатся своими корнями, забывая, что любое родовое древо начиналось с одного человека. И сегодня Янгхаар посадит собственное.

Поднявшись с холодного ложа, он коснулся старых шрамов, которые ощущались сквозь слой краски. Нет больше мальчишки Янгу, появившегося на свет в рабском загоне.

Нет Янгара Северянина, цепного пса Хазмата-хаши.

Нет и Янгара Черного, верного меча и правой руки Вилхо.

– Что из этого ты оставишь... – Голос доносится издали. Но выбор сделан давным-давно: жена Янгхаара Каапо достойна всего самого лучшего. Говорят, что у Пиркко-птички глаза синие, яркие. И Янгар приготовил для нее сапфир размером с кулак младенца.

Но сейчас камень смотрелся тусклым, невзрачным.

Недостойный подарок.

А вот дирхем на веревочке – дело иное. И Янгар забрал монету.

Уже не Янгар, но безымянный мужчина, рожденный во тьме.

...Женщина спала, свернувшись калачиком. И Янгар подошел к ней, страшась до срока потревожить этот сладкий сон. Сколько раз представлял он себе Пиркко-птичку, гадая, и вправду ли она столь хороша, как о том говорят. И вот она.

Ее кожу покрывает слой краски. Узоры сложны, и Янгар позволяет себе любоваться ими. Присев рядом, он проводит вдоль желтой линии, не прикасаясь к коже.

Его невеста юна.

И стройна, как молодая осина. Даже во сне она прикрывает ладонями грудь, словно смущается его взгляда. Ее бедра округлы, а ноги сильны, и Янгар нежно касается розовой ступни...

Глава 8

Связанные нити

Всполохи огня скользили по стенам. Алый гранит. Черный обсидиан. Золотые жилы швами. Светильники из бронзы. Живое пламя, отраженное в чаше бассейна. Шелковая гладь воды, расшитая живым подземным жемчугом. Каменное ложе и груды мехов.

Я лежу, разглядываю потолок, и в белых слюдяных наплывах мне видятся застывшие лица.

Наблюдатели?

Или те, кто дерзнул некогда оскорбить богиню и остался в ее подземельях навек. Страшная участь.

Я лежу. Сжимаю в кулаке зеленый камушек, кляня себя за глупость. Следовало взять цепочку, или перстень, или что угодно, но из украшений, достойных Янгара Черного.

Время тянется, медленное, вязкое, в разбавленной пламенем темноте.

Я сама не заметила, как задремала. И разбудило меня прикосновение.

– Тише, – чьи-то сухие губы царапнули щеку. – Не бойся.

Чьи-то пальцы расплели косы. Чья-то рука легла на мой живот, не позволяя отстраниться. И сама я опиралась на кого-то большого, горячего.

– Я не причиню тебе вреда, – пообещал Черный Янгар. Впрочем, здесь и сейчас он не был Клинком Ветра, но лишь мужчиной, который желал связать свою судьбу с женщиной.

Остальное для слепой Кеннике не имело значения.

Но я... Я должна была сказать правду.

Кому?

Для чего?

Уже сплетаются нити наших жизней.

Нехорошо новый дом на лжи строить.

Но не выйдет ли так, что правда меня же ранит?

Я скажу.

Правду.

Вот сейчас повернусь к нему и скажу.

– Посмотри на меня, пожалуйста. – Пальцы Янгара гладили шею, стирая охряных змей. Он не приказывал – просил, и я подчинилась.

Не сказала.

Хотела ведь, но... не нашла правильных слов.

Черный Янгар и вправду был черен. В первый миг я не поняла, что виной тому – краска, покрывающая его лицо, шею и грудь. От нижней губы начиналась алая полоса, которая дважды обвивала шею и спускалась на плечи Янгара, где расцветали желтые спирали.

– Обычай, – сказал он, словно извиняясь.

Черный – цвет Пехто, хозяина подземного мира. И это верно – многих отправил Янгар к берегам Черноречки.

Алый – цвет Маркку, владетеля битвы. И это тоже верно, все знают, что нет воина искуснее, нежели Янгар.

Желтый... Ламиике?

Светлокосая прекрасноликая дева распростерла над Янгаром соломенные крылья? У него и сердца-то нет... говорят.

Я разглядывала его жадно и, пожалуй, впервые не стеснялась своего любопытства.

Не похож на отца. И на братьев. И на того конюха, который с бородой и лукавыми глазами.

Янгхаар Каапо невысок и жилист. Черты лица его остры, и краска не сгладила их резкости. Высокие скулы. И нос крупный, клювом, вот только ломан был не единожды, и оттого переносица стала кривой. Рот широкий, а губы по-женски пухлые, мягкие. И тянет потрогать, проверить, вправду ли они таковы, как я вижу. Наверное, мне должно быть стыдно.

Наверное, следует скромность проявить.

Наверное.

Я взглядом за взгляд зацепилась.

В нем бездна спрятана.

И она точно так же, жадно, разглядывает меня.

– Ламиике. – Янгар проводит ладонью по моему животу, стирая рисунок. Но краски не смешиваются. Желтого и вправду много, но Ламиике покровительствует всем женщинам. – И Небесный Кузнец. – На пальцах Янгара есть рыжие искры. – В тебе скрыт огонь.

Он улыбается, и хотя рисованная маска его лица искажается от этой улыбки, я улыбаюсь в ответ. Огонь? Во мне? Разве что тот, который разводят в камине. За свою жизнь я растопила сотни каминов, может, тем самым и привлекла Кузнеца? Но пугает меня другое. Третий цвет, не названный Янгаром. Он и кулак сжал, не желая показывать мне синие пятна.

Акку.

Беззаконная ночь. И серп, которым снимают жизни. Грозная жница... почему она?

– Это просто обычай, – повторяет Янгар, стирая рисунок.

Он поднимается первым и, протянув руку, говорит:

– Идем.

Широкую ладонь перечеркивает шрам. Старый, белый, вздувшийся, он походит на червя, залегшего под кожей. И я не без дрожи касаюсь этого шрама. А Янгар вдруг перехватывает мои пальцы.

– Такие тонкие, – с удивлением произносит он и, приблизив руку к губам, целует.

Скажи, Аану. Не медли.

Не могу.

– Как мне тебя назвать? – Янгар проводит моими пальцами по своему подбородку, щеке и вновь по губам, и алая краска мешается с черной. – Ты маленькая и славная и нежная, но твой отец...

...отдал меня ему. Даже не отдал, бросил, как бросают кость собаке. А ведь Ерхо Ину и вправду считает Янгара псом, не раз ведь говорил об этом.

А я, выходит, кость.

– Налле... Налле... – Он пробовал имя на вкус и руку не отпускал. – Медвежонок. Маленький мой медвежонок. Тебе нравится?

У меня никогда не спрашивали, что мне нравится, и я не знаю, как принято отвечать.

– Пожалуй...

Еще один обычай.

Еще один подарок, который я принимаю с благодарностью.

Медвежонок... смешно.

Отец пришел бы в ярость, ведь на гербе Ину – вставший на дыбы медведь. А Янгар... он не хотел посмеяться над древним родом, привязав меня к его истокам через имя. Он просто сказал, что думал.

Откуда я знаю?

Просто знаю. Он что-то делал со мной. Этими прикосновениями, ласковыми, нежными, до сегодняшнего дня ни один человек не прикасался ко мне. Словами. Тонем. Самой своей близостью, которая больше не пугала. А может, и не Янгар был виноват, но само место и безумная богиня, вязавшая наши судьбы.

И теперь я молчала из страха все перечеркнуть.

Не знаю, что будет дальше, но эта ночь принадлежит мне.

Ночь и мужчина.

– А ты подаришь мне имя? – Янгар заглядывает в глаза.

У самого – черные, и не различить, где зрачок переходит в радужку. Но эта чернота, знак ли божественной крови, свидетельство ли проклятия, больше не пугает.

Бездна, в ней спрятанная, приняла меня.

– Да.

– И какое?

В темноте проскальзывают искры. Быть может, они лишь отражение пламени, но я, преодолев робость, касаюсь его виска. Имя приходит само.

– Катто.

– Змей? – Шепот Янгара тревожит огонь.

И меня охватывает дурное предчувствие: змей – запрещенный знак. Но слово сказано, и Кеннике услышала.

– Все будет хорошо, поверь, – сказал мой змей, прижимаясь щекой к моей ладони.

Что было дальше?

Горячая вода подземных источников. Запахи серы и камня. Черной смолы, которая стекала по деревянным опорам факелов. Чаша. Скользящий подземный жемчуг, который просится в руки, и Катто ныряет, чтобы вытащить самый крупный камень. Без воды он сохнет и рассыпается известковой пылью.

А мой муж выглядит донельзя удивленным.

Он не знал, что подземный жемчуг живет лишь в озере, его породившем?

Не знал.

Была краска, расходившаяся по воде разноцветными пятнами. И смуглая, с красным отливом кожа Катто. Намокшие, отяжелевшие косы его и влажные пряди, что обвивали мои руки, подобно водорослям.

– Ласковый медвежонок. – Мой муж смеется. И от смеха его мое собственное сердце стучит быстрее. Он же, прижимаясь щека к щеке, мурлычет колыбельную. Его руки надежны, как опора мира. И я хватаюсь за них, боясь потеряться.

– Все хорошо, медвежонок. Все хорошо. – Он утешает меня.

Был камень на кожаном шнурке и склоненная голова Катто. Он терпеливо ждал, когда я узел завяжу, а шнурок все выскользнуть норовил. И я вязала вновь и вновь, а заодно гладила шею мужа.

– Я смотрю сквозь него на солнце. Тогда возвращается лето.

Камень тускло мерцает.

Наверное, это глупость и сейчас Катто рассмеется, но он серьезен. И подарка касается бережно. А вот узел проверяет на крепость.

– Не хочу потерять.

Это ложь, что Янгхаар Каапо покрыт черным волчьим волосом. Его кожа гладка, вот только шрамов на ней бессчетно. Они – узор, который я пытаюсь изучить.

– Лето. – Мой муж провел по камню мизинцем. – В тебе очень много лета.

Был ответный дар. Шестигранная монетка, позеленевшая от старости. И шелковый шнур поизносился. Но я накрываю монетку ладонью, и она прилипает к коже.

– Один дирхем. – Катто отстраняет ладонь и, наклонившись, целует и монету, и кожу. – Когда-то я столько стоил.

Сказав это, он впивается пальцами в мой подбородок и заставляет запрокинуть голову. Еще не больно, но почти уже. И не Катто, но Янгхаар смотрит мне в глаза. А чернота его собственных непроницаема.

Бездна подобралась к самому краю.

– Ну что, дочь Ину, твой отец хотел знать, где мои корни.

– Он. Не я.

А Янгар не слышит.

– Сгнили. Давно. По ту сторону моря. Я понятия не имею, кто моя мать. Возможно, женщина, которой не повезло попасть в плен. Возможно, шлюха... хотя там, где я был, одно идет за другим. И я не знаю, кем был мой отец. Да и знать не хочу. Мне не нужен род, чтобы чувствовать себя сильным.

Он уже не целует – кусает губы едва не до крови и отстраняется.

– Я был рабом. И сам добыл себе свободу.

Я же слышу его боль. Она вплетена в его кожу рисунком шрамов. И той характерной неровностью ребер на левом боку, которая остается после того, как неправильно срастаются кости. И злостью, которая исходит от бессилия: прошлое не изменить.

Его память останется с ним, как моя – со мной.

– И все, что принадлежит мне, – выдыхает Янгар в губы, – я взял сам.

Мне жаль его.

Но Янгхаар Каапо, который придумал сказку о собственной жизни, не примет жалости.

– Так что, дочь Ину, тебе не страшно?

– Нет.

– Ты станешь женой раба.

Я, не Пиркко. Для нее, пожалуй, все это имело бы значение. А мне... мне хочется успокоить раненую бездну, и я вынимаю монету из его пальцев.

– Здесь нет рабов.

Но есть меха. И пламя. И каменные свирели слепой Кеннике.

Есть ласка Катто.

И мое такое вдруг взрослое тело, которое откликается на нее.

Есть боль, неожиданно сильная. Она длится недолго, но я вскрикиваю. И слезы льются из глаз.

– Тише, медвежонок, тише. – Катто собирает слезы губами. Он гладит влажные мои волосы, шепчет, что эта боль – мимолетна, она пройдет, забудется. И сам он сделает все, чтобы это случилось как можно раньше. Я вздыхаю.

Мне стыдно и за крик, и за слезы.

И за собственную слабость.

Я цепляюсь за его шею, приникаю влажными губами к ключице, хватаю пряди волос.

– Так бывает, мой медвежонок. В первый раз у женщины всегда так бывает. Но только в первый. – Янггар берет меня на руки и несет к чаше с водой и снова напевает колыбельную, вот только я не в силах разобрать ни слова. Язык незнаком.

Горячая вода уносит призрак боли.

– Так лучше? – Катто поглаживает спину.

– Лучше.

Настолько, что я вновь начинаю думать о неизбежном.

Наш брак заключен перед лицом богини. И эту нить, одну на двоих, уже не разорвать. Я слышала, что находились глупцы, которые пытались, но...

Судьба странно стелет дороги, и тем, кто однажды побывал в подземном храме, уже не уйти друг от друга. И что станет со мной завтра, когда грозный Янгхаар, тот самый, в глазах которого оживает бездна, узнает правду?

– Прости. – Я обвиваю его шею руками, прижимаюсь к груди. – Прости, пожалуйста...

– За что?

За ложь.

За молчание.

За то, что задумал отец.

И за слабость, которая мешает рассказать правду. Я знаю, что у меня есть лишь эта ночь, и хочу, чтобы она продолжалась вечно. Но это невозможно.

– Завтра ты станешь другим. – Я лежу в кольце его рук.

– Почему?

– Станешь. И возненавидишь меня.

Но убить не сможешь, поскольку боги не простят такого.

– За что?

– За то, что я – дочь Ину.

Неправильная дочь.

– Я знаю. – Он говорит ласково и гладит по голове, пытаюсь успокоить. – Не бойся, медвежонок. Клянусь, что больше я не причиню тебе боли.

Кто знал, что Янгхаар Каапо не сдержит слово?

Глава 9

Рассвет

Первую женщину Янгару привел Хазмат, сказав:

– Развлекайся. Заслужил.

Три поединка.

Три победы.

Три мертвеца, оставшихся на арене. И длинная царапина, за которую Хазмат тоже спросит, но позже. Хозяин Янгу умеет выбирать момент и сегодня решил проявить доброту.

Темнокожая нуба, на предплечьях которой памятью об утраченных корнях еще цвели родовые татуировки, работала при казармах. Она была не столь стара, чтобы выглядеть плохо, но достаточно опытна. И, присев на постель, уставилась на Янгу белыми глазами.

Он же разглядывал ее слегка обвисший живот, полные бедра, обернутые красной тканью. Медные цепи на длинной шее, полную грудь с выкрашенными хной сосками.

– Хорош, – сказала нуба, приподняв грудь на ладони. – Я уметь много.

Она улыбнулась, показывая спиленные верхние зубы.

А Янгу попросил:

– Расскажи мне о своей родине.

Поняла? Нет.

Покачала головой, и толстые косицы, собранные на затылке узлом, рассыпались по плечам.

– Хазмат плати. Хазмат говори Тайко делать. Тайко делать. Не серди Хазмат.

В ее словах была своя правда.

Нуба и вправду была опытна, и даже пыталась притворяться, что ей не все равно, кто в этот час разделяет с нею постель. Но равнодушие проскальзывало и отчего-то злило Янгу.

Хотелось сделать ей больно.

Укусить.

Ударить. Наотмашь. До крови.

Останавливало то, что и удар она приняла бы покорно, улыбаясь, поблескивая белками глаз, из которых давным-давно ушла жизнь.

После этой женщины осталось ощущение грязи. И Янгу, впившись зубами в циновку, глубоко дышал. Алая пелена безумия, которую так долго пытался вызвать хозяин, подошла к краю. Еще немного – и выплеснется.

Удержал.

Потом, позже, к Янгару приводили других женщин. Хазмат не раз повторял, что по стараниям и награда. И казарменные шлюхи, безмолвные, безучастные, одинаковые в своем безразличии к работе, постепенно сменялись проститутками с улицы.

Те были дороже, и глаза их были не столь пусты. Некоторые соглашались разговаривать, но все равно спешили выполнить работу, и от этой спешки в крови опять вскипало бешенство.

Янгу хотел... он не знал, чего хотел.

Женщину?

Хазмат приводил женщин. В конце концов он позволил Янгу делать выбор. Блондинки.

Брюнетки. Рыжие. Смуглокожие дочери пустыни. Или нахибки, бледные, с тусклыми рыбьими глазами.

Тонкие, что спицы, безгрудые саккийки.

И ленивые шаари, у которых красота напрямую с толщиной связана.

Иногда приводили не шлюх, но рабынь, от которых Хазмат желал получить крепкое потомство. Эти боялись и были покорны, что тоже злило.

Да, женщин было много.

И позже, в пути. Бродяги. И лицедейки, которые не брезговали продавать себя, когда заработать лицедейством не удавалось. Торговки. И первая законная добыча.

Женщина терпела его молча, отвернувшись и смежив веки.

А он напился, пожалуй, впервые в жизни. Выпил с полкувшина кислого вина, которого прежде не пробовал: Хазмат не позволял рабам то, что считал вредным.

Да, у Янгара было много женщин и по ту сторону моря, и по эту.

В последние годы они все чаще сами искали его. Останавливали взглядами, тайными жестами, появлялись в жизни, привлеченные силой, богатством или историей, которую он о себе придумал. Были и бесстыдные, и притворно-скромные, терявшие скромность за позолоченной дверью его спальни. Знатные. И простолюдинки.

Вчерашние рабыни.

Сдержанные. Холодные. Страстные.

Всякие.

И больше не было нужды заглядывать в глаза, чтобы поймать отблеск равнодушия, – их руки были холодны. Ни одна не прикасалась к Янгару так, как эта девочка. С нежностью? И с опаской, словно не веря, что действительно может коснуться. С осторожным интересом. Ласково – так, что он скорее угадывал, чем чувствовал ее прикосновения.

– Столько шрамов... – Его Налле накрыла ладонью те самые, что остались от медвежьих когтей. Удар, пусть и пришелся вскользь, оставил глубокие раны, и ребра сломаны были, а срослись неровно. И тонкие пальчики жены изучали смятый бок.

Она не отворачивалась и не кривила брезгливо губы, когда думала, что Янгар не видит ее.

– Тебя они пугают?

– Нет.

У Налле глаза вовсе не синие, темно-зеленые с золотой искрой, точь-в-точь как ее камень. И волосы рыжие, не то медь, не то живое пламя. Не разглядеть.

Янгар пытается.

И наклоняется ниже, касается губами губ. Он знает, как быть с другими. А с нею?

– Что тебе подарить, медвежонок?

– Зачем?

– Просто так...

Его дом полон чудесных вещей, но понравится ли он жене?

Она думает недолго, но лицо становится таким серьезным, точно этот подарок будет единственным в ее жизни.

А Янгар ждет, гадая...

– Сапожки, – наконец произносит Налле.

– Сапожки?

Он ждал другого, но чего именно?

– Красные, – уточняет она. – Мягкие. Это... не сложно?

Ничуть.

У нее будут самые лучшие сапожки, которые только можно добыть на Севере. И обещание это Янгар произносит на ухо. А касаясь губами шеи, повторяет вновь:

– Не бойся, больше не будет боли.

– Хорошо. – Она устраивается на его плече. – Я не люблю, когда больно.

И ее ладонь выделяется на его коже светлым пятном. Оно скользит от шрама к шраму, и те, задубевшие, загрубевшие, ощущают это прикосновение.

– Я что-то делаю не так? – Она смотрит снизу вверх. И во взгляде нет и тени страха.

Рыжие пряди переплелись с черными.

– Все так.

– Ты дышишь... странно.

Янгар знает. С ним вообще происходит что-то, чему он не знает названия. И впервые ему стало больно от чужой боли – той, что вспыхнула в зеленых глазах. А мимолетный страх – вдруг эта пережитая ею боль отвратит? – вовсе непривычен.

Хазмат хорошо умел бороться со страхами.

– Дышу, – на ее виске билась синяя кровяная жилка, – потому что ты рядом.

Пиркко-птичка... Кто бы мог знать, какое сокровище скрывает Ерхо Ину! И не жаль за него отданных камней. И сам Тридуба уже не выглядит врагом, скорее уж тем, кого стоит пожалеть – упорхнула Пиркко-птичка из Лисьего лога.

Села на ладонь к Янгару.

Как не спугнуть?

В подземельях не существовало ни дня, ни ночи. И факелы горели ровно. Но Янгар чувствовал, как стремительно уходило время. Скоро рассвет. Янгар научился определять его приближение еще в той, прошлой жизни. И сейчас отчего-то испытывал сожаление. С первыми лучами солнца откроются двери храма, и по другую их сторону Янгара встретит новая родня.

Без радости, но по обычаю, расстелет Ерхо Ину дорожку из тростника. И коня подведет, черного, под алою попоной. А Кейсо приведет кобылицу серебристой масти.

Хороша она.

Тонкокостна, легконога и длинногрива. Янгар распорядился, чтобы гриву заплели в косицы, а косицы украсили драгоценными камнями. Чтобы попона златотканая до самой земли спускалась. Чтобы расписаны были охрой и басмой копыта.

Достойный дар для маленькой жены.

Понравится ли?

Она придремала, обняв его за шею, и теплый нос уперся в плечо. Дыхание щекотало, и на сердце становилось так легко, что Янгар не знал, что с этой легкостью делать. Ему хотелось и смеяться, и кричать, и просто лежать, разглядывая лицо Пиркко.

Здесь нет рабов.

Неправ был Кейсо. Не оттолкнула дочь Ину, не уколола ядовитым словом.

Ласковая.

Приближение чужака Янгар ощутил кожей и осторожно, стараясь не разбудить своего медвежонка, высвободил плечо. Перевернулся на живот. Подобрался, жалея о том, что из оружия при нем лишь руки... или вот до факела добраться можно.

– Господин, – шелестящий голос позвал из темноты. – Не гневайтесь, господин. Меня послал ваш друг. Вставайте, господин.

Раб в серой хламиде не смел подойти близко и отворачивался благоразумно, не желая взглядом оскорбить супругу Янгара.

– Что тебе надо?

До рассвета есть еще время. И оно всецело принадлежит тем, кто ищет милости капризной Кеннике.

– Меня послал ваш друг, – чуть громче повторил незванный гость и обернулся в темноту прохода, словно опасаясь, что за ним следят. – Тот, который толст.

Кейсо?

– Он велел передать, что... – Раб облизнул губы и съежился. – Что вам надо уйти. Сейчас.

– Зачем?

Янгар встал. То, что происходило сейчас, не укладывалось в обычай.

– Он велел передать, что у вас больше нет дома. И ваши гости... не гости вовсе. – С каждым словом раб отступал в темноту. – И что утром у ворот храма вы встретите смерть.

– Стой!

Раб остановился, прижимаясь к стене.

– Господин. Пожалуйста. Если меня здесь увидят...

Сколько Кейсо заплатил этому человеку, чтобы он, отданный под крыло храма, нарушил его законы? Гости, значит... Дома нет, и утром за воротами... А жрецы? Что жрецы? Они не отвечают за происходящее вне стен храма. Знали? Возможно.

Вмешиваться не будут.

– Поспешите, – прошептал раб.

Янгар погасил алое пламя бешенства, которое рванулось, желая смерти, не важно – рабу или же предателю Ерхо Ину. Сначала одному. Затем – другому.

Или другой, которая спала, утонув в меховых покрывалах.

Один взгляд на нее, и ярость отступила.

Быть может, раб солгал или перепутал? Не способен же Ерхо Ину желать зла собственной дочери. Не рискнет разломить ее судьбу пополам.

– Идемте, господин. Спешить надо.

Раб прислушался к темноте.

Уходить? Пожалуй, вот только Янгар должен забрать кое-что свое. Он подхватил Налле на руки и, когда она вздрогнула, сказал шепотом:

– Это я.

– Уже пора? – Сонная, она была мягка и беззащитна.

– Пора. – Янгар коснулся лба губами. – Обними меня.

Обняла. И ничего не спросила, когда Янгар понес ее не к отделанным медными пластинами вратам, которые должны были открыться незадолго до рассвета, но в боковой неприметный проход. Только прижалась сильнее. И сердечко стучит-стучит...

Темно.

Янгар хотел взять факел, но раб замахал руками и вытащил из-под полы свечной огрызок, оплавленный, грязный. И огонек, рожденный им, был слаб.

Но хватило света, сказала Хазматова выучка.

Раб шел быстро, ступая беззвучно – настоящая храмовая крыса, из тех, о существовании

которых не задумываешься, пока однажды не переступаешь границу крысиного мира. И вдруг кольнул страх: а если не Кейсо отправил посланника? Если как раз-то Ерхо Ину, тесть дорогой? Или кто-то из гостей, благо найдутся желающие оставить Черного Янгара в подземельях.

И не извне удара ждать следует, но со спины?

Слух обострился.

И обнаженная кожа ловила малейшие токи воздуха.

Ничего. Никого. Только раб и свеча в его руке. Только дрожащая девочка, которая вцепилась в Янгара. Ей куда страшнее, и ему хочется успокоить, сказать, что все обойдется. Но слова разрушат тишину.

Вот раб остановился перед дверью, обыкновенной, дубовой, на тяжелых петлях. Он скользнул в нишу, выдолбленную в стене, и сжался в комок.

Привратник? И старый, если позволено без цепи гулять, или опытный, научившийся избавляться от цепей так, чтобы этого не заметили.

Сколько обещал ему Кейсо за помощь? Много. Столько, чтобы хватило рабу на новую жизнь. И ведь Кейсо не сегодня его нашел, но много раньше, спеша упредить несуществующую опасность.

Дверь отворилась беззвучно. Снаружи было темно. До рассвета осталось всего ничего, и скоро темнота поблекнет, соткнутся в ней сизые нити рассвета.

Кейсо с лошадьми ждал на поляне. Вот только не было ни черного жеребца, ни серебряной кобылицы. Переминался с ноги на ногу тяжелый битюг Кейсо, встряхивал головой, позвякивая сбруей. Рядом с ним виднелся бессараб чалой масти, купленный Янгаром за исключительную выносливость.

Сам Кейсо сидел на пеньке, расставив колени, и начищал любимый палаш полой халата.

– Держи, ж-жених! – Кейсо кинул тюк с одеждой. – И поторопись.

Сам он был в парчовом желтом халате, местами продранном. И по золотым гиацинтам расплывались алые пятна крови. Из широких рукавов, разрезанных едва не до локтя, выглядывали пустые ножны метательных ножей.

И значит, правда... нет больше у Янгара дома.

– Рассказывай, – велел он и, вспомнив вдруг о том, кого держит в руках, едва не отшвырнул женщину, из-за которой... Пиркко сама выскользнула из рук, отступила, не спуская с Янгара настороженного взгляда.

– А что рассказывать. Свадьба была. – Кейсо спокойно водил тканью по клинку. – Гости пили. Гости ели. Гуляли. Хорошо так гуляли, до хмелю... особенно наши. За тебя-то здравицы провозглашались. Мой голос – не твой, чтобы слушали беспрекословно.

И люди, верные надежные люди, пили, не рискуя оскорбить богов отказом.

Свадьба ведь.

Не кто-нибудь женится – Янгхаар Каапо.

– Ты мне оставил две сотни, – сказал Кейсо, переворачивая палаш на другую сторону, и хоть сталь была чиста, но он все же провел по ней атласной тряпкой. – Тридуба привел вдвое больше. Наемники.

Волчье племя, незаконное.

– С табунами пришли... подарком жениху.

– Остальные?

– Не стали вмешиваться. Отступили.

– Дальше, – приказал Янгар.

– Ворота открыли. Наши или кто из гостей? – Кейсо глянул снизу вверх, с упреком. – Кто ж разберет? Свадьба, шумно...

И за шумом шума не услышать. Свадьба гуляет. Веселится. Вот только веселье это на крови замешено. Кейсо все же поднял голову, и взгляд его был страшен.

– Поздно спохватились. Я приказал уводить людей.

А в усадьбе, помимо воинов, и слуги, и рабы, и старые, и молодые, женщины, мужчины...

Выведут. Тайный ход, которым выбрался Кейсо, к самой реке спускается. Но и Ерхо Ину, коль задумал подобное злодеяние, позаботился о том, чтобы не осталось свидетелей.

Всех вырежет.

Сволочь.

– А дом грабить не стали, сразу подожгли. – Кейсо улыбнулся безумной кривоватой улыбкой. – Ярko так горел, видать, не обошлось без земляного масла.

Оно орехами пахнет.

Ночь.

И всадники во дворе.

Подводы, на которые грузят сундуки, бочки, тюки с тряпьем.

Люди суетятся. И не люди даже – муравьи, что проложили дорогу к дому, тащат, волокут добро.

Громко лопаются кувшины, и такая знакомая вонь расплзается по двору.

Факел в руке чужака.

И пламя взмывает высоко, выше разваленного тына, выше деревьев, выше самого неба.

Кто-то кричит, и острый локоть придавливает Янгара к седлу, не позволяя вывернуться.

Пепел просеют, так будет проще найти...

Кто это сказал и когда?

Мальчишка скажет. Он знает.

Что?

Упрямый змееныш! Ничего, справятся. И не такие заговаривали.

Надо молчать.

А лучше и вовсе забыть. Совсем забыть, иначе проболтается.

О чем?

– Одевайся, – спокойный голос Кейсо прервал воспоминания. – Уходить надо.

Непослушными пальцами развязал Янгар узел. Уходить прочь... и это не бегство. Янгхаар вернется и отомстит.

Он пройдет по землям Ерхо Ину, не оставив в живых никого, кто носит это имя. Он напоит поля кровью и положит мертвецов к корням деревьев. Будут пировать волчьи стаи. Будут кричать вороны, восславляя Янгхаара-кормильца. И на всем Севере не найдется человека, который скажет, что совершена месть не по праву.

Глава 10

Удары

Странное дело, я не испытывала страха.

Стояла. Слушала. Удивлялась тому, до чего холодная земля. А ведь еще лето, кажется. И росы выпали ранние, значит, к полудню распогодится. Росы – верная примета.

И светлеющее на востоке небо, смущенное словно, предупреждает о скором появлении солнца.

Наверное, надо бежать, пока Янггар не вспомнил о моем существовании.

Куда?

К отцу? Или в храм, дверь которого, возможно, открыта?

В заросли бересклета, уже украсившиеся розово-лиловыми серьгами соцветий?

Но я стою. Смотрю, как он одевается. И здесь, в сумерках, его лицо выглядит по-настоящему черным. Янгхаар Каапо страшен в гневе. Сказал бы хоть слово...

А я по-прежнему нага, и если в храме Кеннике нагота представлялась мне чем-то естественным и правильным, то теперь мне было стыдно. Жаль, что волосы мои не столь пышны, чтобы стать плащом.

Янггар оделся, подтянул голенища сапог, нож в ножны опустил и медленно, как-то слишком медленно, точно опасаясь сорваться, повернулся ко мне.

Вот и все.

– Ты слышала?

Каждое слово. И теперь я поняла, что задумал отец. Он желал не просто унижить Янгхаара, но уничтожить.

– Слышала.

В руке Янгхаара появляется плеть.

Надо же, как у отца, только коричневая, но тоже плетеная и с шариком на конце. В нем наверняка спрятан кусочек свинца, и воздух плеть рассекает со свистом. А кожу рвет и вовсе легко. И кожу, и мясо... Однажды отец в приступе гнева запорол раба. Остыв же, приказал тело повесить на воротах, чтобы каждый видел, чем неповиновение чревато.

Я видела.

И помню.

И смотрю на руку мужа, смуглые пальцы, нежно поглаживающие рукоять. На саму эту рукоять, резную, с волчьей головой, в пасти которой вставлен красный камень. И на ременный хвост.

– Скажи, почему он это сделал? – Пальцы Янггара приподнимают мой подбородок, заставляя смотреть в глаза.

Снова бездна. Черная, как кровь Укконен Туули. И нежность, с которой мой муж касается меня, пугает.

– Он ведь собирался убить меня. – Голос низкий, бархатистый, ласкающий. – И гнев богов пал бы на твою голову, Пиркко...

– Нет.

Надо молчать.

Или упасть на колени.

Умолять о прощении, которого я, возможно, не заслуживаю.

– Что «нет»? – Плеть касается шеи. – Он не верит в богов?

Верит. Но в себя – больше.

– Ну же, скажи, почему Ерхо Ину пожертвовал любимой дочерью?

– Не любимой. – Мой голос звучит тихо, жалко. И Янгхаар не спешит задать следующий вопрос. Он просто ждет, смотрит.

Улыбается.

А черные глаза темнеют. Знаю, что невозможно такое, но я вижу, как расплывается в них иная, предвечная тьма. Бездна выбралась наружу.

– Ты не Пиркко. – Толстяк роняет лоскут ткани под ноги и проводит по клинку ладонью. – Ты ведь не Пиркко?

– Нет. То есть да... Я – не она.

– А кто? – Пальцы сдавливают подбородок.

– Аану. Аану Ину.

Аану Каапо. Я больше не принадлежу роду Ину. Но я не смею причислить себя к роду мужа.

– Рыжие волосы, – заметил толстяк. – Я ведь тебя предупреждал.

Янгхаар его не слышал.

– Аану, – он повторил мое имя со странным выражением, – Аану Ину...

И плеть соскользнула с шеи, уперлась в грудь.

– Почему я о тебе не слышал?

Потому что отец не любит вспоминать о давней ошибке, да и само мое существование позорит древний славный род.

Позорило.

– Ты и вправду его дочь?

– Да.

Невозможно лгать, глядя в эти глаза.

– Я его дочь. Незаконнорожденная.

Моя мать была рабыней. А отец совершил ошибку, признав меня. Но разве я виновата хоть в чем-то?

Ноздри Янгара раздулись, а губа приподнялась.

– Ублюдок, значит... Видишь, Кейсо, до чего славно получилось – я ублюдок, она ублюдок... Нас уже двое. Ерхо Ину подобрал мне достойную невесту.

Его слова причиняли боль. Я думала, что уже привыкла к ней, и к презрению, и к гневу, и к насмешкам. Пожалуй, ко всему, – люди жестоки. И почему Янггар должен отличаться от них?

– Остынь, Янгу, – сказал толстяк, поднимаясь. – Уходить пора.

Только Янггар не услышал. Он наклонился ко мне и сделал глубокий вдох, втягивая запах моего тела.

– Почему, богов ради, ты ничего не сказала?

Боялась. Сначала отца. Затем его.

И того, что будет со мной.

И того, чего я лишусь. Одна лишь ночь – разве это много? Но ночь закончилась, и что теперь? Я найду тысячу причин, но каждая из них слабое оправдание. Вот только был ли у меня иной выбор? Возможно, что был.

– Она делала то, что ей сказали, и только. – Кейсо поднялся. – Уходим.

– погоди.

Теперь и я ощущала его запах, резкий, какой-то звериный. А плеть вновь поднялась к лицу, и основание рукояти уперлось в лоб.

– Ты ведь не знала, что он собирается делать?

Нельзя врать, глядя в его глаза. Я не знала. Я догадывалась, что отец задумал недоброе, но...

– Скажи, – попросил Янгхаар, – хоть что-нибудь.

И наверное, слепая Акку, цвет которой – синий, а губы довеку защиты суровой нитью, поскольку слишком злые слова произносит раздвоенный ее язык, предъявила на меня права. Иначе почему я, глядя в черные лютые глаза мужа, произнесла:

– Мой отец просил передать, что Ерхо Ину не прощает обид. И не боится псов. Даже бешеных.

Я видела, как дернулся Янгар. Отпрянул. И лицо его вдруг стало белым, а из ноздрей хлынула кровь.

Я видела, как медленно, очень медленно поднялась его рука. И плеть в ней, очертив полукруг, устремилась ко мне черной гадюкой. Она скользила по воздуху, разворачивая петлю за петлей.

Я видела, как Кейсо кинулся к Янгару, пытаясь остановить удар.

И упал на плечи, сбивая с ног, вдавливая в землю. И как Янгар с рычанием и воем пытался высвободиться из объятий толстяка. Он выворачивался, неестественно запрокидывая голову, и обнаженные десны были белы. А в уголках рта появилась пена.

Я видела, как лошади шарахнулись в сторону. Землю, вывернутую копытами битюга. Раздавленную траву. Желтые одуванчики, словно монеты, рассыпанные на зеленом покрывале.

Я видела все и сразу и, наверное, могла бы увернуться, но... боль опалила лицо. Кажется, кто-то кричал, возможно, что и я. Боль была такой жгучей, невыносимой, что я почти ослепла.

Но, отняв руку от лица, уставилась на ладонь.

Красная... Красной краски мне не досталось. Была желтая. И еще рыжая. И синяя. А вот красная – она для Янгара.

Он затих. И только скулил, как-то жалостливо, по-собачьи. А толстяк, одной рукой вдавив голову Янгара в мох, второй гладил по волосам и что-то говорил, успокаивая.

Кейсо обернулся ко мне и сказал:

– Сейчас отпустит.

Кто? И кого? Он. Янгара. И позволит встать. Вернет плеть и право добить меня. Боги будут против? Какое дело богам до безумца и глупой девчонки? Да и есть ли они вообще?

– Десять лет, девочка, он учился жить. И всего-то несколько слов...

Щеку дергало болью, нервно, мелко, и я, сама того не замечая, поглаживала рану.

И пятилась.

– погоди... – Толстяк попытался встать, но Янгхаар рванулся под рукой, пытаясь избавиться от живых оков. – Он очнется и...

...и добьет меня.

– Аану...

Да, это мое имя.

И я не та дочь, которую Ерхо Ину любит.

И не та жена, которую желал бы получить Черный Янгар.

Я просто ублюдок.

Ошибка.

– Это приступ. У него давно не было приступов. Он не понимает, что делает... что сделал. Не уходи! – Кейсо не спускал с меня взгляда. И если бы не необходимость удерживать Янгара, он схватил бы меня. – Это пройдет. Всегда проходит...

Я не стала слушать дальше. Мне все равно, что будет с ним. С отцом. С Янгаром. С богами и людьми.

– Стой!

И страх вдруг вернулся.

Беги, Аану, беги!

Не важно куда. Прочь от храма, от поляны, от плети и мужа.

Беги, Аану.

Лес пытается задержать, хватает за спутанные волосы кривыми лапами ветвей. Хлещет по лицу, разбивая его в кровь. И кровь льется из рваной раны, которая огнем пылает.

Беги.

– Стой!

Крик несется в спину. Подгоняет. И голос уже не принадлежит Кейсо. По моему следу идет Черный Янгар. И слышу треск ветвей. Конское ржание.

Меня не собираются отпускать.

– Да стой же!

Лес ставит подножку, и я падаю в густой кустарник. Острые ветви добавляют ран, и в сетях бересклета остаются пряди моих волос.

Беги, Аану.

Боль нынешняя – ничто, а промедлишь – будет хуже. Тот, кто идет по твоему следу, пытаясь продрасть сквозь заросли, не знает пощады. И я падаю. Встаю. Пробираюсь сквозь решетки еловых лап. Зажимаю ладонью щеку, чувствуя, как пульсирует кровь, сочится сквозь пальцы. Мой кровавый след не потерять.

– Стой, я не трону тебя...

Ложь. Он – охотник. И все ближе. С каждым шагом.

– Клянусь!

Уже клялся, там, в пещере. И чего стоила его клятва.

– Пожалуйста...

В какой-то момент земля уходит из-под ног. И лес, отвесив прощальный удар, отпускает. Я падаю. Качусь по ковру из гнилых листьев, которые прилипают к коже. Расцарапываю руки о корни и камни, их как-то слишком много. И, уже не в силах вынести этой новой боли, кричу.

– Аану!

Падение останавливается на дне оврага. И я, всхлипывая от обиды, пытаюсь вдохнуть, подтягиваю колени к груди, кое-как переворачиваюсь на живот, понимая, что дальше бежать не смогу.

Я не хочу умирать.

Шорох сзади заставляет обернуться.

По дну оврага, неторопливо, неуклюже, прихрамывая на переднюю лапу, шел медведь.

Он был стар, и бурая некогда шерсть поседела. Массивную голову украшали шрамы. Левая глазница зверя была пуста. Впрочем, вел его нос. Я замороженно смотрела, как он – черный, подвижный – нащупывает мой след. И зверь то и дело останавливается, словно опасаясь потерять кровавую дорожку, оставленную мной на листьях. Но остановки эти длятся меньше мгновения, и зверь движется дальше.

Осторожно.

Медленно.

Неотступно. Он подбирается все ближе и ближе. И я, встав на четвереньки, вновь отползаю, уже понимая, что сейчас – не спастись.

– Аану! – Голос Янгара заставляет зверя остановиться. И тяжелая голова поворачивается к краю оврага. Приподнимаются губы, обнажая желтые клыки, каждый длиной в два моих пальца. Из пасти раздается рычание.

– Аану, отзовись же...

А в следующий миг медведь нависает надо мной. Он привстает на задние лапы. И я вижу израненное, изорванное подбрюшье.

Его гнали.

Не сегодня и не вчера. Но долго, раз за разом спуская собак, которые окружали зверя, хватали за пушистые штаны, ошалев от крови, забывали о страхе, ныряли под брюхо лесного хозяина, давились шерстью и выдирали целые куски плоти.

Но медведь ушел и от собак, и от охотников. Вот только раны загноились, и черные мясные мухи кружились над ними.

– Нет, пожалуйста... – шепотом попросила я.

Зверь вонял, но не звериным духом – болезнью, которая говорит о скорой смерти. И единственный уцелевший глаз был мутным, гноящимся.

– Пожалуйста...

Я не хочу умирать.

Но зверь помнит о боли, которую причинили ему люди. Он покачнулся и опустился на четыре лапы, нависнув надо мной. Из пасти на мое лицо капала слюна. А меж клыков показался длинный черный язык, который нежно коснулся рассеченной щеки. И боль утихла.

Наверное, потому, что я лишилась чувств.

Глава 11

АМОК

С ним давно уже не случалось приступов, и Янгар успел забыть, каково это, когда мир, еще мгновение назад казавшийся прочным, незыблемым, вдруг разлетается на осколки. И сознание уходит, уступая лютотому, дурному, скрытому внутри.

В нос шибает старой кровью. Рот наполняется слюной, удержать которую невозможно.

И остается одно желание – убить.

Арена...

Песок, в котором вязнут ноги. Он сырой, несмотря на то что после каждой схватки досыпают свежий. Но крови много, и песок мокнет.

Пот бежит по спине, по рукам, по пальцам. И рукоять трезубца становится скользкой.

Кружит сеть.

И нервы рвет крик:

– Убей!

Его враг – огромный нубу, украшенный множеством татуировок, за каждой из которых стоит мертвец, чья голова легла к ногам темнокожей богини. У нее тысячи рук, и каждая дарит смерть. Нубу хорошо служил ей. И готов служить дальше, здесь, вдали от родины и затерянного во влажных лесах храма.

И ныне он готов назвать Тысячерукой новое имя.

Из брони на нем – рогатый шлем и рваная кольчуга, надетая на голое тело. В этом нет смысла, но на арене важна красота, а у хозяина нубу своеобразный вкус.

И Янгар щурится, всматриваясь в серебро кольчужного плетения, выискивая в прорехах место для удара. Если нубу позволит его нанести. Черная его кожа лоснится. Блестит копьё.

Нубу уверен, что он победит.

Кого привел Хазмат? Мальчишку. Тот ловок и быстр. Кружит по арене, думает, что сможет убежать. Или рассчитывает измотать врага? Нет, нубу опытен. Он выступает уже пятый год, редкие бойцы живут столько. И мальчишку ему даже немного жаль.

Янгар слышит отголосок этих мыслей, и гул барабана, и свист хлыста, который скользит у ног. Хлыст остался в руках Хазмата. Хозяин верил, что, доведя Янгу до края, сумеет выпустить ту ярость, что некогда помогла убить медведя. Но попытки тщетны. Край подступает раз за разом, а ярость молчит. И Хазмат выпускает Янгу в бой.

Нубу – не медведь. Он приближается легкой танцующей походкой, и толпа одобрительно свистит. Они любят чернокожего, а тот отвечает на любовь красивой смертью. И копьё почти соскальзывает с ладони, острое жалит, отворяя кровь на плече. Не больно, но... Янгар видит в прорези шлема белесые выпученные глаза нубу. И еще толстые его губы, на нижней подарком от благодарного поклонника серьга висит с круглым синим камнем.

– Ты... драться! – Нубу ударяет себя в грудь.

И кольчуга дребезжит, пляшут тонкие кольца ее, сверкают так, что ломит в висках.

– Драться...

Второй удар копья приходится в бедро.

– Гони его! – требуют зрители. – Бей!

Убивай.

Жало копья подымается в третий раз. И розовая ладонь льнет к полированному древку. Мир срывается с привязи за мгновение до удара.

Янгар очнулся от тишины. Молчали зрители. И только собаки, раззадоренные звериным запахом, заливались лаем. Янгар стоял на четвереньках, опираясь руками на тело нубу. С того слетел рогатый шлем, и теперь всем стало видно, что нубу был стар. Сед.

И еще жив. Из разодранного горла его хлестала кровь. А в глазах Янгу видел жалость.

– Убей! – крикнул кто-то.

И толпа подхватила. Они больше не любили нубу, но желали видеть, как он умрет. Это ведь не сложно. Копье лежит рядом, на песке.

Нубу вдруг дернулся, и массивная рука его обхватила горло Янгара.

Вот и все.

Ему достаточно было сжать пальцы, чтобы хрустнула шея, но нубу рывком подтянул Янгара к себе. Дернулись темные губы.

– Амок, – прочитал Янгар.

А потом и второе слово:

– Беги.

Нубу умер сам. И это огорчило зрителей. А Хазмат и вовсе пришел в ярость.

– Не жалея, – говорил он Янгару, перемежая слова с ударами. – Никогда и никого! Не жалея!

Рассвет Янгар встретил в глиняной яме, куда отправляли тех, кого Хазмат желал научить послушанию. И, опустившись на дно – такое упоительно прохладное, – Янгар свернулся калачиком. Он умел переносить боль, но не знал, как отогнать кошмар. Стоило смежить веки, и он видел разодранное горло, чувствовал кровь на губах и слышал шепот:

– Беги.

Тот нубу приходил всякий раз перед вспышкой. Всего за долю мгновения, предупреждая, что мир вот-вот треснет. И постепенно Янгар начал испытывать к нему благодарность. Но сегодня нубу оставил его. И уже соскальзывая в алое марево безумия, Янгар попытался сдержать удар.

Его тело переставало принадлежать ему. И черное лицо нубу вдруг сменилось смуглым узким лицом Хазмата. Тот поглаживал длинные усы и кривил губы, приговаривая:

– Не жалея. Никогда и никого.

Хазмат исчез, и появился Ерхо Ину. Он ничего не говорил, но ему и нужды не было. Тридуба смотрел с таким презрением, что Янгар понял – все тот знает. Про другой край моря, про пески и караваны, про рабский рынок и школу, в которой Янгара пытались научить послушанию. Про казармы, арену... про то, что Янгхаар Каапо – вовсе не сын бога, но беглый раб.

И бешенство вдруг отступило.

– Тише, мальчик мой, тише... – Кейсо держал, не позволяя подняться. У него одного хватало сил справиться с Янгаром. Кейсо наваливался всей тушей, подминая Янгара под себя, и держал до тех пор, пока приступ не заканчивался.

– От... отп... – Речь давалась с трудом. – Отпусти.

– Все?

Кейсо не спешил убрать руки.

– Отпусти, – повторил Янгар. И получил свободу.

На ноги он сам поднялся.

Покачивало. Мutilo. И голова привычно кружилось. Но все же приступ был недолгим, иначе было бы хуже.

– Где...

...его жена.

У нее зеленые глаза и рыжие волосы.

Она дочь Ерхо Ину, но не та, которую он любит.

И она просила подарить ей красные сапожки.

– Убежала. – Подняв плетъ, Кейсо протянул ее Янгару.

– Я...

На плети остатки крови. Ударил? Не сумел удержать себя?

– По лицу, – спокойно добавил Кейсо.

Она сама виновата, виновата сама. Она что-то сказала, отчего ярость, которую Янгар сдерживал, прорвалась.

– Далеко не уйдет. – Кейсо подошел к лошадям. – Но если хочешь догнать, то поспеши. Рассвет скоро. И Ерхо Ину, когда поймет, что ты ушел, устроит травлю.

Он не пощадит нелюбимую дочь.

След был. Широкий. Явный. Проложенный сломанными ветвями и каплями крови, которая уже подсыхала. Янгар чуял запах страха и поторапливал лошадь, пытаясь нагнать жену, пока с той не случилось беды.

Случилась.

В храме, когда глупая девочка связала жизнь с ним.

И он тоже глупец, если решил, что Север излечит. Десять лет тишины – это ведь достаточно, чтобы поверить, что амок, безумие воина, которое дарит Тысячерукая богиня избранным, оставила Янгара.

– Стой!

Он кричит, понимая, что Аану не остановится. Бежит, прячется, ранит себя. И колючий кустарник становится стеной на пути Янгара. Его жеребец хрипит и пятится, трясет головой.

Спешившись, Янгар бросил поводья на ветвь.

Пешком.

По тропе, которую проложила Аану. И рыжие нити ее волос выводят к краю оврага. Но здесь след обрывается. И на зов девочка не отвечает. Прячется...

По лицу, значит.

Плетью.

– погоди! – Кейсо выбрался из зарослей. – Если она в панике, то к тебе точно не выйдет. Пусти...

Наверное, он был прав и помочь желал искренне. Наверное, Янгар принял бы помощь, но в этот миг со дна оврага раздалось такое знакомое ворчание.

Медведь.

Огромный матерый зверь с седой холкой. Под разрисованной шрамами шкурой перекачивались валуны мышц. Шея прогибалась под тяжестью головы, и Янгар мог разглядеть нити слюны, протянувшиеся к палой листве. А между передними массивными, будто столпы, лапами зверя лежала Аану.

– Не смей! – Предупреждение Кейсо запоздало.

Янгар уже катился по склону оврага, оставляя на лиственном ковре глубокий след. И, съехав на самое дно, спохватился, что из оружия при нем лишь нож да плетъ.

Хватит.

– Иди сюда! – Янгар щелкнул плетью над ухом зверя, отвлекая на себя. – Слышишь?

Слышит. И поворачивает голову. Он движется с нарочитой медвежьей неторопливостью, которая многих вводит в заблуждение. Но Янгар знает, до чего быстры и коварны эти звери.

– Ко мне!

Он шагнул ближе и хлестанул наотмашь. Тяжелый хвост плети просвистел у самого носа зверя, заставив того оскалиться.

– Ну же...

Янгар вытащил из-за пояса нож. Копье было бы лучше, с ножом шансов немного. Разве что зверь сам уйдет.

– Давай!

Медведь поднял голову и повернулся. Заворчал – не зло, скорее предупреждая человека. Вот только Янгар не готов был прислушаться к этому предупреждению. Он старался не смотреть на тело жены.

Жива.

Она просто сознание потеряла.

И Янгар вытащит. Надо верить, что вытащит. А потом расскажет про вспышку. И про то, что не хотел причинять ей боль. Но амок – это то, с чем ему не совладать.

Правда, она больше никогда не коснется его с той нежностью, которую дарила ночью.

Медведь двинулся на Янгара. Наступал он медленно, оскалившись, но не спешил нападать, словно и не желал вовсе, но лишь пытался прогнать человека от законной своей добычи.

– Пшел от нее! – Янгар пятился, но, когда отступил на дюжину шагов, зверь остановился. Он наклонил голову, уставившись на Янгара пустой глазницей, и ухмыльнулся. А затем развернулся. Янгар не был интересен медведю, у него уже имелась еда.

– Янгу!..

Крик Кейсо прорвался сквозь алую пелену, которая пришла сама, хлынула по следу предыдущего приступа. Накрыло, лишая остатков сознания.

И враг был.

Янгар молча бросился на зверя и, вцепившись в жесткую грязную шерсть, вскочил на шею. Нож в руке ходил легко, пробивая и кожу, и толстый слой жира, но лишь боль причинял. И зверь закричал почти как человек.

Амок.

Оглушающая ярость. Багряная пелена, выпряденная Тысячерукой из пролитой крови ее врагов. Она падает на глаза, лишая рассудка.

Бешенство. И почти безумие. Оно дарует нечеловеческие силы и выносливость, избавляет от боли, но взамен выпивает досуха. Как в тот раз, когда Кейсо подобрал перегоревшего мальчишку. Тот лежал в канаве, пытался ползти к воде, но лишь елозил руками по грязи. А когда Кейсо приблизился, мальчишка повернул голову и зарычал.

Амок еще жил в черных его глазах.

– Я сам, – сказал мальчишка, когда к нему вернулся дар речи. – Я...

– Сам. – Кейсо прижал флягу к губам. – Конечно, сам.

И руку подал, помогая подняться. Кейсо мог бы поднять паренька, слишком худого, истощенного приступами, но чересчур гордого. Он шел, вцепившись в плечо Кейсо, но сам. И

в седло забрался, неловко перевалившись поперек конской спины. И, прокусив губу, держался в седле. А вечером спросил:

– Ты кто?

– Кейсо.

– Что тебе от меня надо?

– Ничего.

Ему было странно слышать такое, и услышанному он не поверил. Долго еще не верил, но и не уходил, даже когда смог бы уйти. А ведь думал, подгадывал, примерялся. И однажды ночью подобрался к Кейсо с ножом в руке. Сел рядом и сидел до рассвета, глядя то на нож, то на Кейсо.

Глупый потерянный мальчик. Он совершенно не умел жить.

– Ты мне помог. Почему? – спросил Янгу наутро.

– Потому что мог.

Позже Кейсо расскажет о храме, который стоит в горах – не местных, защищающих плодородные земли Кемир от иссушающего дыхания Великой пустыни, и не о тех, что сторожат Север, но о сапфировых пиках Тайбу. О лестнице в семь тысяч ступеней и золотых грифах, стерегущих ее подножие. О чашах, в которых горит пламя холодное, как льды вершин. О людях, что приходят к храму, желая обрести покой.

И дремлющих мудрецах, иногда сбрасывающих покров дремы.

Об озере слез, пролитых прекрасной богиней, осознавшей несовершенство мира.

О том, что сам Кейсо, заглянув в это озеро, изменился.

Позже.

Когда мальчишка научится немного доверять. В тот же раз Янгу поскреб пятерней грязную щеку и сказал:

– Я не забуду. Я отплачу тебе. Потом, когда стану великим.

– Кем великим?

Янгу нахмурился.

– Я иду на Север. И ты пойдешь со мной. Увидишь, что очень скоро мое имя будет известно всем.

И Кейсо с трудом заставил себя не рассмеяться. Но время шло и... да, кто на Севере не слышал о Янгхааре Каапо? Вот только жить мальчик по-прежнему не умел.

Плохо...

Кейсо соскользнул в овраг, на дне которого выплясывал зверь. Он то вскидывался на задние лапы, стремясь сбросить всадника, то опускался с ревом, с воем. Размахивал лапами, но добраться до Янгара был бессилён.

Однако и у Янгара не выходило справиться со зверем. Лезвие ножа было чересчур коротким.

А потом медведь вдруг остановился, покачнувшись и стал заваливаться на бок. И Янгар в последний миг разжал руки. Он упал на мягкую листву, откатился и, прежде чем успел подняться на ноги, нос к носу столкнулся со зверем.

Медведь не думал умирать.

Он скалился, облизывая желтые клыки.

Янгар ушел от удара. Почти.

Массивная лапа смяла кости, и ножи когтей полоснули по коже, отворяя кровь. Янгар полетел кувырком. А зверь, вместо того чтобы добить врага, отвернулся. Прихрамывая, он

двинулся туда, где без движения лежала девочка.

В крови.

В листьях.

И вряд ли живая.

Лучше бы ей не быть живой.

– Прости, – сказал Кейсо, раздирая халат. Раны, оставленные медвежьими когтями, были неглубоки, но кровоточили изрядно. Янгхаар дышал и пытался что-то сказать.

Подняться.

Ползти по собственному следу, не желая оставлять зверю законную его добычу. Мальчик был упрям, а сейчас это упрямство ему вредило. И Кейсо, вздохнув, опустил кулак на затылок Янгхаара.

– Прости, малыш, – повторил он, уже зная, что Янгар не слышит.

Сегодня хватит смертей.

И медведь, убедившись, что люди не будут мешать, склонился над девочкой. Он ворчал и всхлипывал, елозил мордой по животу, переворачивая тело то на один, то на другой бок.

Мертва. Конечно, мертва. Живая очнулась бы.

И ладно.

Мертвых оставлять проще. С мертвецов вообще спрос невелик...

Уже на краю оврага Кейсо обернулся и увидел, как зверь, вцепившись клыками в плечо, волочет добычу.

Глава 12

Большая медведица

– Спи, Аану, – шептал мне ветер, перебирая струны сухих трав. И полые стебли камыша играли колыбельную.

– Спи, Аану, – вторила вода.

Ручей был рядом. Я сквозь дрему ощущала его прохладу, слышала шелест воды, пробирающейся по плоским камням. В моем сне они были темно-зелеными с золотой искрой, как тот, который я подарила мужу. И камни нанизывались на нити солнечного света, гремели...

Нет, не камни – щербатые плоски, что выстроились вдоль стены.

Стена земляная, черная, с торчащими из нее нитями корней.

Где я?

Сумрак.

Низкий потолок, с которого свисают космы седого мха. Гнилые балки перекрещиваются и давят на неошкуренный столб, темный, покрытый слизью и розовыми шляпками волчьих грибов. Очаг из камней. Огонь, который горит как-то слишком ровно, бездымно. Но пламя настоящее, я ощущаю его тепло. Где-то над головой из дыры тянет свежим воздухом, и я приподымаюсь, желая сделать глоток.

Губы не раскрываются.

Склеились. И во рту стоит кисловатый мерзкий вкус.

Кровь? Я помню... да, я помню, как Янгар вынес меня из храма. И разговор на поляне. И его вопрос. Свой ответ, жестокий и несправедливый. Лютую черноту в его глазах. И плеть, что метнулась ко мне змеєю, обожгла. Помню, как бежала, пытаюсь скрыться в лесу, и как Янгар гнался за мной.

Падение.

Медведя.

А дальше? Что было дальше?

Не знаю.

– Проснулась. Она проснулась. – Этот голос доносится издалека. И я, желая разглядеть ту, кому он принадлежит, выворачиваю шею.

Медведь?

Сердце замирает.

– Она смотрит. Она боится. Живая. Здесь? Здесь. Она живая. Нельзя трогать.

Не медведь, но старуха в плаще из медвежьей шкуры. И шкура эта выделана с огромным умением. Голова зверя набита опилками, расписные стекла вставлены в глазницы, а длинные когти выкрашены алым. Удивительное дело, старуха выглядит хрупкой, маленькой, а шкура – огромной, но меж тем она не была велика своей хозяйке.

– Трогать нельзя. – Старуха приблизилась ко мне и, положив на грудь искореженную руку, сказала: – Плохо. Сердце тук-тук. Вкусное.

Я замерла.

– Она пить.

У губ появилась кривоватая чашка. Старуха заставила меня сделать глоток, для этого

мне пришлось попытаться открыть рот. Стон я сдержать не сумела. Сухая ладонь легла на затылок, поддерживая голову и не позволяя отвернуться от чаши.

– Она пить, – строго повторила старуха и, сунув пальцы мне в рот, заставила разжать зубы.

Травяная горечь на миг заглушила боль. А потом я уснула.

Второе пробуждение было менее болезненным. Я выплывала из сна медленно, словно подымалась из тяжелой, мутной глубины. Сначала появились звуки. Все то же ворчание огня, которому приходилось облизывать закопченные стенки старого котелка. Шипение воды, которая изредка падала на угли. Костяной перестук. Скрежет. И гортанное пение.

Хозяйка склонилась над котлом. Она вглядывалась в варево, изредка помешивая его сучковатой палкой.

– Она проснуться, – с явным удовлетворением отметила старуха. – Хорошо.

В этот раз меня накормили кашей из дикого перловника, щедро сдобренной медом. Старуха заставляла есть, несмотря на то что открывать рот по-прежнему было больно. А когда я протянула руку, желая коснуться лица, старуха перехватила ее.

– Она себя не трогать. Она лежать.

Ослушаться ее было невозможно, и рука моя, сплошь покрытая мелкими ссадинами, легла на меховое покрывало. А я, глядя в единственный глаз старухи, бледно-голубой, с круглым пятном бельма, вдруг поняла, кем является хозяйка дома.

– Она не бояться! – Старуха оскалилась, и желтые сточенные клыки ее были длинны. – Сердце тук-тук. Сладкое. Но Тойву помнить. Свобода.

И я, преодолев страх и брезгливость – от старухи воняло, обнаженное тело ее покрывала смесь жира и грязи, а многочисленные раны гноились, привлекая мух, – попросила:

– Расскажи мне о себе.

И она, сунув большой палец в рот, кивнула. Говорила Тойву плохо, за годы, проведенные в медвежьей обличке, она почти забыла человеческую речь.

Но я понимала.

Ее звали Тойву, звонкая.

Это было давно. Сейчас вряд ли остался в живых хоть кто-то, кто помнит это имя и девушку с волосами темными, как незаконная ночь. А было время, и о красоте Тойву, дочери вольного хозяина Скеригге, летела слава.

Говорили, что косы ее длинны и тяжелы, а кожа белее первого снега, что глаза ее вобрали синеву весеннего неба, а губы – сладость дикой малины. Что норовом Тойву легка и душою светла, что руки ее – руки истинной мастерицы...

Она рассказывала об этом, трогая изрезанное морщинами лицо. И невзначай проводила сухими пальцами по губам.

Малина?

Скорее перегнившие за зиму листья. И запах источают такой же – долгой болезни, смерти, которая давно уже стоит на пороге, но отчего-то медлит, не желает дать душе избавления.

Многие сватались к Тойву, но сердце ее украл молодой хёвди, хозяин драконоголового корабля. Черный и алый цвета сплелись на его щите.

Как его звали?

– Не помнить, – сказала мне Тойву, отворачиваясь, и замолчала, провела по щекам

желтыми когтями.

Что имя? Была весна. И вереск расцветал на старых камнях. Хмелем гудел воздух. Белопенные волны шептали о любви – о той, которая навек.

Тойву слышала.

Слушала.

Поддавалась.

Да и как не поддаться ласковым словам, взгляду, от которого сердце то замирает, то несется вскачь, как шальная кобылица. Прикосновениям.

Нежности.

Рукам, которые кажутся надежными.

Понимаю ли я?

Понимаю.

И в груди чувствую пустоту, которую пытаюсь ладонью прикрыть. Сама виновата, Аану, – промолчала. А потом ударила словом да наотмашь, как отец хотел...

– Он говорить взять Тойву в жены. – Старуха склонила голову, и седые патлы закрыли ее лицо. – Он лгать. Зло.

Догорела весна. И лето наступило – короткое, какое бывает на Севере. Раскидало душистые алые цветы, расправило крылья боевым кораблям, погнало прочь от берегов. И тот, кто держал Тойву в объятиях, уверяя, что нет для него неба иного, нежели то, что живет в ее глазах, ушел. Обещал вернуться.

– Тогда и сыграем свадьбу, – сказал он, целуя жадно, прощаясь... Знал ли, что навсегда?

Она ждала с нетерпением и страхом, умоляя богов о милости.

Попутных ветров просила.

И моря гладкого.

Легких путей. И встреч, которые добавили бы избраннику славы.

Пусть вернется он в первый день осени, когда кленовый лист, поддавшись на уговоры ветра, касается волны. И женщины выходят на скалы, бросают в воду медные украшения, выкупая у хозяйки морей своих мужчин.

Пусть расколется горизонт, выпуская тени драконоголовых кораблей.

И пусть алый нарядный щит будет поднят на носу.

Исполнились просьбы Тойву. И, позабыв про гордость, побежала она навстречу любимому. По камням, по воде, что лизнула ноги холодом, по радужному мосту, который, говорят, лишь истинно любящих держит. Думала, улыбнется. Обнимет. Подбросит к небу, а он...

...он глянул, как на чужую, бросил:

– Забудь меня!

Женился.

Хороша была Тойву, но за женой давали сундук золота, да два десятка мастеровитых рабов, да еще лошадей, овец и коров, зерно и полотно, стекло и клинок из расписного восточного булата.

Любил дочь хозяин Тогай-пади, берег и не отпустил бы, когда б сама не попросилась. Но и отпустив, обижать не позволил бы.

– Ей говорить о Тойву. И она хотеть – Тойву уйти. – Старуха причмокнула и выпятила верхнюю узкую губу. – Тойву говорить, что нет. Тойву дом. Тойву мужчина.

Только он не пожелал принадлежать Тойву, отвернулся, отступил. И пошел шепот по

селу, дескать, опозорила себя дочь вольного хозяина Скеригге, отдала невинность недостойному. Верили?

Верили.

Дня не прошло, как некто измазал дегтем ворота.

Шептались.

Тыкали в спину. Смеялись. Плевались. И слали отцу, сватаясь, гнилые меха.

– Тойву плакать. Долго. А потом быть ночь. Луна круглый. И Тойву брать в рука нож и в лес идти. Тойву найти место, где дуб расти...

Он был огромен и возвышался над кронами прочих деревьев, тем и привлек птицу-молнию. Сжег его небесный огонь, оставив лишь опаленный пень, да и тот пополам треснул. Вогнала Тойву в трещину нож острием вверх и, раздевшись догола, натерев тело медвежьим жиром, разостлала по ту сторону пня шкуру. Зверя еще ее дед добыл и сказывал, будто бы непростым был медведь.

Боялась ли она?

Самую малость. Гнев душил. Ярость.

И, отступив на три шага, обратилась Тойву к той, чье имя не смеют произносить попусту. С разбегу бросилась она, прыгнула и, приземлившись на той, иной стороне, упала на медвежью шкуру.

А та потянулась навстречу, обняла Тойву нежно, да и приросла к коже.

Сколько лет с той поры прошло?

Тойву не знает.

Много.

Замолчав, положила Тойву ладонь на мой лоб. И была эта ладонь холоднее льда.

– Тойву устать, – наконец сказала она. – Тойву просить свобода. Акку слать она.

– Нет.

Я не хочу становиться хийси-оборотнем, нелюдью, что обретается в лесу, покидая его лишь затем, чтобы найти себе добычу. Не хочу пробовать на вкус человеческую кровь и вынимать из груди сердца, которые позволят мне хоть ненадолго согреть собственное.

– Она звать Акку. Она прийти ко мне. Она взять шкура.

Та, съехав с голых плеч Тойву, лежала на полу. Не шкура – грязный ком бурой шерсти.

– Ты звать.

Возможно. В сердцах. В обиде.

В страхе.

– Акку слышать. – Тойву ласково накрыла ладонью дрожащую мою руку. – Вести. Дать Тойву. Она взять шкура. Тойву спать. Покой.

Я не собиралась плакать. Достаточно слабости, Аану безродная.

– Она плакать. – Тойву, ковыляя, добралась до полки и сняла с нее резную шкатулку. – Она глупый. Хийси хорошо. Сила много. Мстить. Есть. Сердце тук-тук. Сладкое. Хийси все боятся.

Я не желаю мести. Да и кому мне мстить?

Но Тойву уже не слышала. Смахнув со шкатулки пыль, которая покрывала дерево столь плотным слоем, что и резьба стала неразличима, она откинула крышку. Из шкатулки появилось на свет зеркальце в серебряной оправе, почерневшей от времени, гребень с длинными зубьями, тяжелые серьги и пара запястий, украшенных алыми камнями.

– Она быть свободна. От люди. От боги.

– А от себя? – Я смотрела, как примеряет Тойву украшения, как расчесывает остатки волос гребнем и, повернувшись правой щекой к зеркалу, смотрит на себя.

Кого видит? Уж не ту ли красавицу, которой не стало много лет тому назад?

– Он мне подарить, клясться жена сделать. И не бросать. Говорить, любит... Врать. Всегда врать. Она помни: мужчина врать. Она слушать. Жалеть. Нельзя жалеть. Мстить.

– Ты отомстила?

Тойву повернулась ко мне. И улыбка ее была безумна.

– Тойву прийти к ним. Много-много прийти. День. И еще день. Кровь сладкая-сладкая... и сердце. Сначала тук-тук, потом молчать. Тойву смотреть. Пробовать. У человек маленький, но тепло. Тойву не мерзни. Есть и радоваться.

Она убивала. Оборачивалась медведицей, возвращалась к дому неверного жениха и ждала. Она была терпелива. И неуязвима. Ее пытались отвадить, выставляя на опушке леса богатые дары, но Тойву не желала откупа. На нее выходили с огнем, с собаками и железом, но Тойву, уже отведавшая человеческой плоти, больше не боялась ни собак, ни стали.

Она смеялась над охотниками.

И вновь убивала.

– Его жизнь Тойву забрать последней, – сказала она, трогая серьги.

Я же, не удержавшись, коснулась лица.

– Он тоже умереть, – по-своему истолковала жест Тойву.

– Я не буду мстить.

– Ты – нет. – Алая лента запуталась в седых космах. И серебряные запястья неподъемным грузом повисли на руках. – Она смотреть. Правда, красиво?

Она гладила серебро и, вытянув руки, любовалась им.

– Ты его убила?

Янгар шел за мной.

Звал. И клялся, что не обидит.

Я не поверила, но...

– Нет, – ответила Тойву, поворачивая зеркальце к обожженной стороне своего лица. – Сердце не есть. Горькое. Змея. Тойву не есть змея. Он сам умри. Раны Тойву не зарастать.

Она улыбнулась сухими губами, что некогда были сладки, как дикая малина.

– Если Тойву не сказать им, – добавила она. – Она его жалеть?

Нет.

И да.

– Посмотреть, что он с ней сделать. – Зеркальце оказывается у моего лица. В отполированном металле я вижу алую вздутую полосу, перетянутую черными нитками. Она начинается над бровью, пересекает нос и, сползая по щеке, уходит под подбородок. Полоса сочится кровью и белым гноем. – Это навсегда.

Я понимаю, но я никогда не была красива, чтобы жалеть об утраченном.

– Ни один мужчина не взгляни в ее сторону, – с улыбкой произнесла Тойву.

Пускай. Я знала лишь одного мужчину. И с меня довольно.

– Он ее убить. Хотеть, – добавила старуха.

Возможно.

– И она все равно его жалеть? – Тойву убрала зеркало.

– Нет.

Это не жалость, но...

К моей коже прилипла шестигранная монета.

Дирхем, подарок, принесенный с другого края моря.

Пещеры безумной Кеннике.

Его просьба сказать хоть что-то. И чужие слова, которые я бросила ему в лицо.

– Позволь его ранам затянуться. – Эта просьба далась мне с трудом.

– Нет.

– Да. – Я закрыла глаза: слишком устала, чтобы спорить. – Акку привела меня к тебе. Но я знаю, что без моего согласия ты не получишь свободу.

Хийси не умрет, пока не найдется та, кто добровольно примет ее силу и ее проклятье. Я помню старые сказки.

– Тойву спасти ее! – Голос Тойву был полон гнева.

Возможно. Но разве я просила о спасении?

– Тойву убить ее. – Костлявая рука нажимает на грудь. И ребра хрустят. Когти впиваются в кожу, готовые разодрать ее. – Съесть сердце. Тук-тук.

– Но тогда ты не получишь свободу.

Меня хватает на то, чтобы смотреть в глаза оборотня. Сколько она прожила? Сто лет? Двести? Больше? Акку подарила ей долгую жизнь, но не сохранила молодость. И тело, подточенное многими болезнями, ранами, устало.

– Почему? – спросила старуха, когда я почти соскользнула в сон. – Если не жалость?

Не знаю. Быть может, потому, что смерть – слишком высокая цена за один удар.

– Он все равно проклят, – скрипучий голос Тойву проникал сквозь сон.

Пускай. Тогда нас, проклятых, будет двое.

– Хорошо...

Я не слышу, как она уходит. Сплю. И во сне попадаю в пещеру, где чаша воды, подземный жемчуг и мужчина, который поет мне колыбельную на незнакомом языке.

Тойву возвращается спустя несколько часов.

– Он будет жить, – говорит она и кривится. – А она...

А я приму ее силу, хмельную, как молодое пиво, которое варили в Лисьем лого.

Жизнь Тойву оборвется с первым лучом солнца. Она умрет тихо, со счастливой улыбкой на губах. И утром я отнесу ее к корням старого дуба. На дно ямы ляжет медвежья шкура, а в руки Тойву я вложу ту самую шкатулку. И, повинувшись порыву, нарву букет из ромашек, васильков и колючей череды – пусть дорога души ее будет легкой, а хозяйка ледяных чертогов, в которые лежит путь проклятых душ, милосердна.

Я вернусь в хижину.

И на дверях ее подарком от бельмоглазой Акку будет висеть медвежья шкура. Она придется мне впору, заглушит голос сердца, заберет боль и оставит холод, тот, внутренний, который лишь живая кровь способна утолить.

Закрывая глаза, я всякий раз буду слышать, как где-то далеко бьется сердце.

Тук-тук.

Глава 13

Чужие долги

Янгхаар очнулся, когда и лес, и овраг остались далеко за спиной.

Кейсо опасался, что мальчик не выдержит скачки, но и медлить не смел. Чудились за спиной голоса гончих, которые, говорят, у Тридуба весьма хороши. Вот и нахлестывал лошадей.

Летели. Месили копытами сочные травы заливного луга и отяжелевшие, налившиеся позолотой колосья пшеницы. Вздымали придорожную пыль. Кони проскочили сквозь низкий осинник, за которым проблескивала широкая лента реки. Пошли по воде, и брызги разлетались, как некогда монеты, щедро разбрасываемые рукой Янгара. И только миновав излучину, Кейсо позволил лошадям перейти на шаг. Нынешние места были знакомы ему.

Кейсо спешил, но и в спешке не позволил себе беспечности. Остановившись в низине, поросшей мелкой жесткой осокой и ежовником, который шелестел, предупреждая о незваных гостях, Кейсо перерезал веревки, что удерживали Янгара в седле. То ли удар был силен, то ли мальчишку приступы измотали, то ли крови он потерял слишком много, но Янгар сполз с седла. И Кейсо едва успел его подхватить.

– Ты... – Веки дрогнули.

– Я, бестолочь ты этакая. Кто еще? – Кейсо кинул плащ Янгара на землю. Благо лето, тепло. Ночь переможется, а наутро, глядишь, мальчик отойдет, он выносливый.

Янгар лег на плащ и, поморщившись, попытался избавиться от разодранной куртки.

– Погоди, – Кейсо снял седельные сумки, – сейчас я тобой займусь. Ну вот объясни мне, глупому, зачем ты на медведя полез?

– Медведицу, – уточнил Янгар, болезненно шурясь.

– Какая разница?

– Большая. Медведицы хитрее.

– Ну если так...

Кейсо быстро сложил костерок из сосновых шишек и тонких, пропитанных смолой, веточек. Крохотный походный котелок он наполнил мутноватой водой из ближнего ручья. Достал сумку с травами и кiset, в котором хранил тонкие иглы да шелковые нити.

Мальчик часто себя ранил.

– Тем более если хитрее. – Кейсо присел рядом. – Надо это тебе было?

Молчит, упрямец.

Всегда был с норовом, и год от года ладить с Янгаром становилось все сложнее. И бывало так, что Кейсо всерьез подумывал о том, чтобы уйти, да всякий раз останавливался – он успел привязаться к мальчику. Да и тот Кейсо любил, так, как умел.

Не его вина, что Янгхаара Каапо любить не учили.

А может, и к лучшему, что не учили, не так болеть будет, когда узнает про жену. И стоило подумать о ней, как Янгар спросил:

– Аану...

– Ее нет. Пей.

Янгар мотнул головой и попытался оттолкнуть руку.

– Не дури. – Сунув горлышко фляги меж стиснутых губ, Кейсо велел: – Пей.

Во фляге был бальзам на семи десятках трав, горький, едкий, оставляющий мерзкое послевкусие, но весьма полезный.

– Воняет, – пожаловался Янгар, пытаясь отдышаться. Воздух выходил со свистом, тяжело, но на губах не было кровавых пузырей, что радовало.

– Зато помогает. – Кейсо отложил флягу.

Костерок уже разгорелся, и вода закипела. В седельной сумке нашлась запасная рубаша, которую Кейсо деловито разрывал на полосы. Он знал, что мальчик ждет рассказа, но медлил.

– Аану? – Янгар облизал губы.

На лбу его выступила испарина. Но, невзирая на боль, Янгар сел и, схватив Кейсо за руку, повторил вопрос:

– Что с ней?

– Мертва. – И Кейсо, попросив у богов прощения за ложь, которая во благо, сказал: – Она была мертва, когда ты появился. Сломала шею. Неудачное падение, несчастный случай... это бывает.

Янгар не шелохнулся и руку не отпустил. Сжал крепче.

– Я похоронил ее там.

– А медведь?

– Он ушел.

Поверит ли? Поверил.

Вымотался. И держится на одном упрямстве, потому и не задает больше опасных вопросов. И ладно. Девочку, конечно, жаль, но у этого упряמצа хватит дури вернуться к оврагу. И попасть под удар. Ерхо Ину только рад будет.

Янгар позволил себя уложить. И лежал тихо, когда Кейсо ощупывал ребра – два явно были сломаны и еще несколько треснули. Янгар не шелохнулся и когда длинная игла, прокаленная над пламенем, пробила кожу. Раны от медвежьих когтей были неглубоки, но длинные, и шить пришлось много. А поверх швов Кейсо накладывал аулерскую белую мазь, жгучую, как пламя, и подобно пламени заразу выжигающую.

[Купить полную версию книги](#)